
Лидия Графова
Путь к себе — это путь к другим
Российская газета
Комсомольская правда

Лидия ГРАФОВА

Путь к себе — это путь к другим

Книга первая

(Избранные статьи 1960—1979 гг.)

Москва
2018

УДК 070
ББК 76.0
Г 78

Книга издана с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов (распоряжение Президента РФ № 93-рп от 3 апреля 2017 года).

Распространяется бесплатно.

Г 78 **Графова Л.И.**
Путь к себе — это путь к другим.
Книга первая (избранные статьи 1960—1979 г.г.)
— М.: Изд. ИП Матушкина И.И., 2018. — 236 с. + 8 с. илл.

ISBN 978-5-94101-338-8

Известный журналист Лидия Графова, лауреат премии «Золотое перо России», почти 30 лет жизни посвятила защите прав мигрантов. Ее называют «совестью российской миграции». А начинала она репортером «Комсомолки», успела побывать в разных экзотических местах страны, даже на Северном полюсе. Спускалась в скафандре на дно Байкала. Но уже в ранних ее статьях трепетное внимание к душе человека было главным. Так что не случайно она пришла в правозащиту. Коллеги говорят, что по творческой биографии Графовой можно изучать историю нашей журналистики, она работала и продолжает работать в лучших газетах страны: «Комсомолка», «Литературка», «Российская газета», «Новая», «МК»...

Юбилейный сборник избранных статей Л. Графовой (кроме этой первой книги, выйдут еще две) ярко показывает, что такое настоящая журналистика. К сожалению, сегодня журналистику сменил пиар. Так что Вам, уважаемый читатель, предстоит, можно сказать, «реликтовое» чтение.

УДК 070
ББК 76.0

ISBN 978-5-94101-338-8

© Л.И. Графова, 2018
ИП Матушкина И.И., 2018


ИЗВЕСТИЯ
СОВЕТОВ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ СССР
КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА
ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕ
УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТ
НОВАЯ
ГАЗЕТА
Третьего шага провалы
Голосуй за Ельцина! Испол
МК
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
ОСТАТЬСЯ
ЧЕСТНЫМ

СОДЕРЖАНИЕ

Попытка исповеди (вместо вступления) 5
«Бог открывается человеку в такие моменты,
когда Он особенно человеку нужен» 8
Какого цвета небо? 16
Сегодняшние впечатления об ушедшей юности 25
Хоть бы дождь пошёл... 26
Жизнь — как творчество 43
Пирожки с акцентом 65
Коллекционер подвигов 78
Необходимое пояснение о доминанте Ухтомского 92
Двое на плоту 97
И летит тополиный пух... 106
Двойник 115
«Меня судьба не баловала» 124
Не зовите его чудаком 144
Летучий Голландец 154
Загадка Нади Рушевой 166
Уроки оптимизма 177
Сегодняшние размышления о быстротечности
бытия и неизменности смысла жизни 188
Зачем человеку полюс? 190
Отец 196

Попытка исповеди (вместо вступления)

Вот и дожила я до юбилея, цифру которого страшно произнести — 80! Не могу поверить, все кажется, будто что-то очень хорошее еще впереди. С правнучками общаюсь на равных, вместе с ними верю в чудеса. Как-то на даче младшая сказала: «Да какая ты бабушка, ты — девочка!». Вспоминаю этот смешной эпизод, чтобы признаться: я, пожалуй, не доросла до своего солидного возраста. Но юбилей обязывает дать себе, а, может быть, и Богу отчет, что я делала, зачем так долго жила на свете.

Моя профессия (58 лет и по сей день работаю в журналистике) позволяет въявь вернуться в забытое прошлое. Статьи в пожелтевших газетах — это документ. Не только моей жизни, но отчасти и эпохи.

Издание юбилейного сборника было заложено в проект «Собирание народа», который реализует наш «Форум переселенческих организаций» по президентскому гранту. В нем много серьезных задач, которые на протяжении 23-х лет своей деятельности пытается решать переселенческое движение. Это, прежде всего, иммиграционная амнистия для тысяч давно переселившихся в Россию соотечественников, ставших бесправными «нелегалами поневоле». Это и гуманизация госпрограммы переселения, полной препонов и ловушек. Это и реформирование Закона о гражданстве РФ, придание ему репатриационного характера. И разработка упрощенного миграционного режима для пустеющего Дальнего Востока.

Издание сборника казалось самой простой из задач. Но сколько же хлопот было у помогавших мне участников про-

екта и наших друзей — волонтеров! Разыскивали в архивах мои статьи более чем полувековой давности, сканировали, переводили в WORD, потом читали их мне вслух. (Из-за неизлечимой болезни глаз я уже давно могу читать только крупный шрифт в компьютере, да и то с трудом.) Сложнее всего было отобрать «самое-самое» из неисчислимого множества публикаций, а потом в какой-то логике разместить все под одной обложкой. Но не складывалась стройная композиция из статей разных времен, напечатанных в разных изданиях! Да и сборник получился бы слишком толстым. Вот поэтому мы решили издать не одну, а три книги соответственно этапам моей работы: ««Комсомольская правда» (19 лет стажа), «Литгазета» (25 лет), а когда я вышла на вольные хлеба, печатаюсь в «Российской газете!» (чаще всего) и в «Новой», изредка — в «МК», «Известий» и других изданиях..

Эта первая книжка — в основном из статей в «Комсомолке». Светлая была в ту пору газета, и писалось мне тогда вдохновенно. Тема нравственного самосовершенствования волновала больше всего. Вела рубрики: «Хочешь стать лучше?», «Наедине с собой», «Простые истины». Когда перешла в «Литгазету» (ее называли «рупором перестройки»), социальная проблематика стала главной, к тому же в 1990-м я «заболела» трагедией мигрантов, и этот свой крест мне, наверное, нести до конца...

Чем дольше живу, тем труднее пишется. Шутка ли: почти три десятка лет «зациклилась» на миграции, бьюсь лбом о свинцовую стену, а она становится все неприступней. Правда, лоб почему-то не трескается.

Но какая же это мука: каждый раз искать новые слова и аргументы, чтобы доказать очевидное: это же святой долг России по-человечески принять соотечественников, брошенных

при распаде Союза! Да ведь стране, переживающей демографический кризис, это просто выгодно. Увы, нам на свободу слова все циничней отвечают... «свободой» слуха.

Как же растопить воск в ушах властителей? Вот и сидишь за компьютером день, два, иногда целую неделю, подыскиваешь нужные слова, но все не то, не то, не то... Даже общение с детьми в такие пустые дни не радует, даже суп, когда «не пишется», получается у меня невкусным.

А работа в «Комсомолке» была жизнью взахлеб. Столько интересных встреч! И про все хотелось скорей рассказать читателю. Я будто летала по строчкам, и без устали летала по бескрайним тогда просторам нашей Родины. Тянуло посетить «зэковские места» — Норильск, Магадан, «Золотое кольцо» Колымы, Соловки...

Перечитывая свои ранние статьи, сделала «открытие»: как бы мы ни ругали наше горькое прошлое, обзывая себя «совками», но в массе своей советские люди были все-таки лучше, чем стали мы сегодня. Лишенные многих человеческих прав, запертые замком на границе, люди были тогда добрее друг к другу и чаще задумывались о евангельских истинах, хоть они и назывались (ради маскировки)«коммунистической моралью». А теперь, когда религия у нас вроде бы в чести, часто ли вспоминаем о том, «что с нею, что с моей душой»? Мы с азартом превратились в общество потребления, а для духовной пищи уже не хватает времени? И самое обидное: оказалось, что свобода, к которой мы так жадно рвались, большинству нашего общесва не очень-то нужна. Можно обвинять правительство, нашу разнузданную прессу, «зомбоящик». Но ведь у каждого человек своя единственная жизнь, за которую он сам прежде всего в ответе.

Краткое предисловие

Начать этот сборник моих ранних статей хочу с беседы, которая была опубликована сравнительно недавно и не в «Комсомольской правде», а в другой газете. Хронологически беседа должна бы быть размещена в третьей книге «избранного», относящейся уже к нынешним временам, но я решила поскорее познакомить читателя с очень дорогим мне человеком. Встречу с Зинаидой Александровной Миркиной я считаю даром судьбы. Благодаря пятилетней дружбе с нею я стала больше любить людей и саму жизнь. Перечитывая сейчас свои статьи в «Комсомолке», понимаю, что уже тогда, будто предчувствуя радость встречи с З.А., я неосознанно старалась следовать ее заветам.

Зинаида МИРКИНА:
«Бог открывается человеку в такие моменты, когда Он особенно человеку нужен»

Два этих имени всегда вместе — поэт Зинаида Миркина и философ Григорий Померанц. Их союз длился больше полувека. Зимой 2013 года Григорий Померанц ушел из жизни.

В книгах, телеэфире, на своих семинарах Померанц и Миркина открыто и просто говорили о том, про что у нас публично говорить не принято, — о чувстве живого Бога. Оказалось, такой разговор очень нужен людям в наше смутное время.

— Зинаида Александровна, на банальный вопрос «Верите ли Вы в Бога?» — Вы обычно даете весьма озадачивающий ответ...

— Просто повторяю слова преподобного Силуана Афонского: «Я не верю в Бога, я Его знаю». Для меня чувство Бога — это переживание, опыт сердца, ощущение связи с целостной Вселенной.

Это значит, что я — не случайная песчинка, которая явилась из какой-то бессмыслицы и в бессмыслицу уйдет. Я не сирота в этом пустом и холодном мире. Бог для меня не абстракция, а живая реальность.

Когда глубоко живешь, нельзя не почувствовать, хотя бы смутно, своей связи с бесконечностью. Прежде всего это обжигающее чувство: всё — живое. Не только человек, не только животные, нет, всё — деревья и небо, река и море, и свет...

— А мы относимся к окружающему нас прекрасному миру как к чему-то неодушевленному. Да и о Боге вспоминаем только в несчастье. Сегодня почти все похороны знаменитостей проходят с отпеванием в церкви. Но ведь часто это просто формальность. Знаете, мой сын, когда был маленьким, жаловался, что бабушка заводит его в церковь: «Она знает, что мне будет жалко распятого Боженьку и я буду плакать. Не хочу!» А однажды очень серьезно сказал мне; «Знаешь, я все-таки решил поверить в Бога. Ну, про всякий случай». Вот так и многие из нас: исполняют обряды «про всякий случай»

— Мы ничего не знаем о чужой душе... Но Вы правы: считаться верующим стало модным. Наша страна была резко атеистической, стала резко обрядовой. Тем временем мы стремительно превращаемся в общество потребления.

И Бог как бы включается в обойму благополучия: есть семья, квартира, машина, надо бы еще пойти покреститься.

— **Но ведь как трудно бывшему советскому человеку познать Бога.**

— Всегда и всем трудно. Есть притча: Бог устал от людских безобразий и спросил у архангелов, куда бы понадежнее спрятаться от нас? Ему ответили: «Спрячься в сердце человеческом, туда люди реже всего заглядывают».

— **А как это познание началось для Вас?**

— Мне было 19 лет, я училась в университете, выросла в атеистической семье, отец был истовым большевиком. Как и многих в юности, меня мучили «проклятые» вопросы. Я видела, сколько безумной жестокости творится в мире (только что закончилась война), я не понимала, зачем так устроен мир и зачем жить, если я ничего не могу изменить? В моем характере есть привычка — всегда и во всем винить саму себя. Я чувствовала себя виноватой даже перед влюбленным в меня юношей, переживала, что не могла ему ответить. Страдала с полнейшей искренностью, и жизнь от всех этих «вин» и безответных вопросов становилась невыносимой. Впоследствии я поняла, что этими чрезмерными страданиями я будто дырявила свою душу, как бумагу протирают ластиком, и дотерла... Душа стала как бы сквозной и открылась главному...

Я об этом случившемся со мною, да, чуде, не раз рассказывала на лекциях и писала. Все было абсолютно реально. На нашей даче, днем. Я была больна, лежала в постели и смотрела сквозь открытую дверь балкона на деревья. Люблю смотреть на деревья, они для меня, конечно, живые. Только что прошел сильный дождь с грозой. Выглянуло солнце и вдруг знакомая ель (она была

вся в дождевых каплях) вспыхнула тысячами маленьких солнц. Небывалый свет будто пронзил меня, и вне всякой логики я пришла к уверенности, что творец этой красоты — совершенен. Мои физические глаза не видели ничего, кроме сияющей ели. Но внутренним зрением я почувствовала на себе взгляд, в котором была такая бесконечная любовь... И в то же время на меня изливался полный покой. Это была беспредельная любовь ко мне лично и совершенный покой за меня, что бы со мной ни случилось.

Так вот получилось, что Бог из внешнего пространства одним рывком переместился в мою внутреннюю глубину. Из чужого, другого существа, которому я не могла раньше молиться, Он превратился в мою собственную бесконечность. И я, еще не прочитав до этого слов Евангелия о том, что царствие Божие внутри нас, смутно ощутила это «царствие» в своем собственном живом опыте.

Из записок Г.С. Померанца

«...Такое чувство Паскаль пережил втайне, и это стало известно после его смерти из записки, зашитой в подкладке его камзола. Он пережил некий огонь, чувство внутреннего света... Тут важны не идеи, а само это чувство, что в глубине сознания и сердца есть какая-то сила, не менее бесконечная, чем время и пространство. Чувство этой внутренней силы рождает метафизическое бесстрашие. Опираясь на него, можно вести себя смело и под огнем, и во многих ситуациях, требующих гражданского мужества.

Я сам испытал это чувство возле поселка, на который сыпались бомбы, и «хенкели» перестали меня страшить. Через две минуты я встал и уверенно пошел, куда нужно».

— После того потрясения Вы тяжело заболели. Это была расплата за чудо?

— Всерьез заболела я только через два года. Пять лет была прикована к постели, и как раз то переживание дало мне силы, чтоб выжить. У меня, знаете, будто выросли крылья. Я начала читать Евангелие и находила там все, чего жаждала душа. И хлынули стихи, все они были о любви к Богу. Мне хотелось поделиться с людьми тем, что я пережила. Правда, оказалось, что моим близким, дорогим людям это было не очень нужно. Так что пришлось прятать «крылья» под платье.

Бог всегда с нами и открывается Он человеку самым неожиданным образом, кому-то в тюремной камере, кому-то во время жатвы...

И я убеждена, что Он дает каждому возможность начать новую глубокую жизнь. Встреча с Сущим может произойти, только когда отбросишь все суетное, второстепенное и доверишься той непостижимой силе, которая создала жизнь, создала нас. Какой-то могучий ветер вдруг вырвет человека из привычного, обыденного и поставит перед вечными вопросами: откуда мы явились? где мы были до момента рождения? куда мы уйдем? зачем мы проделываем наш жизненный путь? Человек может обезуметь или в испуге отшатнуться от обступившей его Бесконечности. Но может и преодолеть испуг, дать сердцу раскрыться, тогда весь мир для него преобразится.

Из записок Г.С. Померанца

«...Невозможно свершить поворот круто, сразу. Но вполне мыслимо постепенно вращивать в суету дел и развлечений паузу созерцания, паузу тишины... Вся эта телевизионная псевдокультура приучает человека не вглядываться в себя, не задумываться

о чем-то слишком сложном. Отрывает его от глубины, приучает жить в постоянном шуме, и люди так привыкают к этому шуму, что даже пойти гулять не могут без того, чтобы не заткнуть уши наушниками с каким-нибудь тамтамом».

— Григорий Соломонович любил вспоминать слова князя Мышкина: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?» А Вы обычно добавляли: «Разве можно видеть, как прекрасно создано дерево, и не верить в существование Бога!»

— Знаете, деревья наполнены Богом, а мы — самими собой и потому порой не слышим, как Бог разговаривает с нами через свое творение. Вглядывание в природу — это и есть вглядывание в свою собственную глубину. В такие молитвенные минуты мы подключаемся к Вечности, она-то и дает нам энергию. Без этих минут мы просто лишаем себя источника сил.

Из записок Г.С. Померанца

«...Только в тишине созерцания исчезает запутанность в частностях, мир видится в целом и становится яснее, куда идти. Это можно воспитывать в детском саду, в первых классах школы... Отрешенность и созерцание должны стать частью одного большого ритма жизни. Какой-то минимум тишины необходимо вернуть каждому человеку, иначе человечество не найдет выхода из современной запутанности и погибнет в серии конфликтов».

— Вы написали вместе с Померанцем книгу «Великие религии мира». Вы сами какую религию исповедуете?

— Я уважаю все мировые религии. На мой взгляд, это окна, разные по форме и прозрачности, а свет в них проникает из единого источника. Но не дай Бог спутать окно

с самим светом. Тогда возникает гордыня вероисповедания, и она ничуть не лучше личной гордыни.

Что касается меня, то моим «окном» или «дверью» является Христос. Я бесконечно Его люблю, хотя знаю, что если судить о Нем по внешним результатам Его миссии, можно счесть Христа... неудачником. Ведь больше двух тысячелетий прошло, а человечество так и не следует Его заповедям. А сегодня мы живем так, что наши души просто не успевают за нами. И мир по-прежнему лежит во зле...

Но вот загадка: почему же, несмотря на все, творимое людьми, в миллионах душ уже третье тысячелетие живет Христос? Люди, живущие по заповедям Христа, не переводятся, причем их становится все больше среди всех народов мира. На них-то мир и держится.

— **Как понимать ваши слова: «Мы должны помочь Богу... помочь нам»?**

— В современном мире многие нравственные ценности просто рухнули. Распятие Христа продолжается, но распиная Христа, мы ведь уничтожаем самих себя. Бог, конечно, страдает за нас, но Он ведь страдает и внутри нас. Это, может быть, то самое трудное и главное, что мы должны почувствовать. Он дал нам свободу воли, у каждого из нас есть выбор: созидать свою жизнь, вступая в сотворчество с Богом, или — разрушать. Но суть в том, что помочь нам, спасти нас помимо нашей воли, без нашего участия Бог не может. А мы без конца предъявляем претензии: как Он допустил то-то и то-то?

Помочь Богу, а это значит — себе, на самом деле просто: полюби Его всем сердцем и делай все, что хочешь. Внешний закон тут необязателен. Ибо у любящего Его есть закон

внутренний, записанный в его сердце. Истинно любящий Бога просто не захочет делать зла. Это просто невозможно .

— Мне довелось встретить в жизни нескольких глубоко верующих людей. Все они, несмотря на нелегкие судьбы, чувствовали себя совершенно счастливыми. Валерия Дмитриевна Пришвина, жена Михаила Михайловича, говорила: «Я ничего не боюсь — ни старости, ни болезней, единственное, что меня страшит, это потерять ощущение жизни как Тайны». Рядом с нею все мы чувствовали дыхание этой Тайны.

— Хорошо, когда встречается духовный поводырь. Но если даже не случится такой встречи, а есть только духовная жажда — когда Бог будет человеку по-настоящему нужен, повторюсь, Он обязательно ему откроется. Он ведь всегда с нами.

Из записок Г.С. Померанца

● *«Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в битву за добро, за истину, за справедливость...»*

● *«Темное облако, из которого на нас сыплются молнии, создали мы сами. Наше дыхание творит атмосферу, в которой начинается любое событие».*

● *«Каждому из нас даны только осколки истины, и бессмысленно спорить, чей осколок больше».*

● *«Стиль полемики важнее предмета полемики, важнее правоты в споре».*

● *«Счастье — не кошелек на дороге. Оно открывается изнутри, и чтобы оно открылось, нужно было пережить все прошлое, все неудачи, в которых сбывалась душа».*

* * *

«Новая газета», 21 июня 2013 г.

КАКОГО ЦВЕТА НЕБО?

Дождь лил и лил, будто задался целью помешать чему-то. И уже стало невмоготу пережидать на этой веранде, у этого аквариума с золотыми рыбками, которые плавают и спят, спят и плавают. Скучно тут с ними, а пробежать каких-нибудь двести метров, и будет СОЛА. Да, нужно только пересечь парк. Прямо-прямо по дорожке из жёлтого ракушечника.

Усердные струи дождя летели сплошной кисеей, но серебряные купола светились ничуть не меньше обычного. На гвозде — большой замок, а дверь распахнута настежь. Внутри непривычно тихо. Значит, солавцы ещё не собрались, а кто-то один пришёл первым. Нетрудно угадать кто. Толкаю дверь библиотеки, и Василий Васильевич поднимается из-за стола со своей всегдашней, немного рассеянной улыбкой.

— Ах, это ты? Не ждал, не ждал... — Он носится с моим мокрым плащом как с сокровищем, зачем-то начинает сдвигать на столе рукописи. — Ну, здравствуй. Садись же, выкладывай всё-всё...

Спешу обрадовать его, что на этот раз я не проездом, не в отпуск к морю, а в командировку, и тема моя — открытие Новой в созвездии Лебедя, — вот, мол, и в журналистике можно сохранить некоторую причастность к звёздам. Он, конечно, этому сообщению рад и готов тут же переключиться на разговор про Новую Лебедя. А я хочу сначала узнать про него самого, про нашего обожаемого «В. В.» (так мы называли Василия Васильевича между собой в детстве). Впрочем, стоит ли что-то спрашивать, когда вижу: всё здесь по-прежнему и он прежний. Вот это знакомое движение

рукой по волосам — стремительно от лба к затылку, будто отталкивает какие-то мысли. Этот жест всегда настораживал нас — слишком уж не соответствовал он весёлому характеру нашего В. В. А вдруг В. В. втайне всё-таки не удовлетворен своей жизнью?

Вся его жизнь — СОЛА. Что такое СОЛА? Расшифровывается просто: Симферопольское общество любителей астрономии. Но чтоб объяснить, в чем суть СОЛА, хочу мысленно возвратиться в далёкое давно, чуть ли не на двадцать пять лет назад (четверть века! Вот какими сроками, Василий Васильевич, мы уже измеряем собственную жизнь), когда он, В. В., был младше самого юного из сегодняшних солавцев.

Была ночь. Мальчишка сидел на крыше сарая и, приклеившись глазом к стёклышку подзорной трубы, изучал небо. Эту трубу он смастерил сам из стёкол бабушкиных очков. И увидел в неё, что у Сатурна — кольца, а у Юпитера — спутники, что Венера напоминает маленькую луну-серп, а туманный Млечный Путь распадается на множество звёзд. Будто зазвенели в душе серебряные колокольчики.

Он забросил шумные игры. Тосковал день в ожидании вечера, а вечером читал «лекции» о строении вселенной ребятам со своей улицы, шёпотом (так было таинственней). Терпеливо отвечал на глупые вопросы, вроде: «Вон звезда упала, значит, кто-то умер?» Так же терпеливо объяснял устройство своего телескопа. Кончилось лето, он пошёл в школу и в первый же месяц организовал в своем классе астрономический кружок.

После школы Вася Мартыненко поступил учиться в Крымское художественное училище имени Самокиша.

Преподаватели отмечали в нём незаурядные способности. Но, закончив училище, художником он не стал. Учёным-астрономом тоже не стал, хотя с мальчишеских лет, как глотнул неба в подзорную трубу, занимается астрономией.

Кем же он стал? Его профессия единственная в своём роде: В. В. — учредитель, вдохновитель, а теперь штатный руководитель СОЛА.

...Шарканье ног на крыльце, и победно распахивается дверь. Так входят к себе домой, заранее зная, что тебе будут рады. Девчонка и трое мальчишек, промокшие, пахнущие дождем:

— Василий Васильевич, мы поработаем с картотекой! — роются в шкафах, достают какие-то ящички, тетради.

— Классифицируем метеоры, объясняет мне В. В., — знаешь, уже накопилось сто пятьдесят тысяч наблюдений.

Сто пятьдесят тысяч метеоров! Сколько же это ночей?

...Стоит только закрыть глаза, и увижу тот двор без фонарей, то высокое холодное небо с мурашками звезд. Услышу, как щелкает крыльями прибор, с виду похожий на обыкновенный вентилятор. Он установлен над фотокамерами и предназначен для определения скорости падения метеоров. А мы лежим на матрацах, каждый — уткнувшись глазами в «своё» созвездие. Мы называемся «метеорный патруль». Матрацы — прямо на земле, а кажется, что плывём в небе. Даже дышать боимся. Только бы не прозевать, крикнуть: «Момент!» — чтоб В. В. успел занести пролетевший в «твоём» созвездии метеор на карту, засечь время с точностью до микросекунды. Я помню, что первый метеор в ту далекую ночь пролетел в созвездии Ориона... Нас, семиклашек,

впервые допустили к наблюдениям. Да, это были самые счастливые, самые звёздные часы моего детства.

СОЛА... Мы бредили им во сне. Мы знали наизусть его биографию: кружок звездочётов Васи Мартыненко очень скоро прославился и был усыновлен станцией юных техников, и стал магнитом для ребят всего Симферополя, а потом на него обратили внимание крымские ученые, и у кружка, превратившегося уже в целое общество, появились научные цели... Одно из первых юношеских астрономических обществ в стране, СОЛА до сих пор остаётся одним из самых уважаемых. Не только в кругу любителей, но и среди учёных. Спектры метеоров, сфотографированные СОЛА, включены в каталоги разных стран мира. Солавцев приглашают на симпозиумы, конференции. Обсерватории дают им задания, к их мнению прислушиваются, их работы печатают...

Наука наукой, но больше всего нам нравился устав СОЛА: «Если хочешь быть солавцем, знай: свои личные интересы и настроения ты должен подчинить общей цели...» Солавцы казались нам какими-то особенными людьми, а В. В. был самым интересным человеком на свете.

Ну а потом мы, как и бывшие, как и будущие поколения солавцев, «разбредались по своим жизненным путям» (так записано на одной из страниц толстой летописи СОЛА). К новым городам, к новым делам, к новым людям. Мы сами становились новыми. Ну а он, наш обожаемый В. В., не ставший ни знаменитым художником, ни известным астрономом, а всю свою жизнь посвятивший «текучему» СОЛА, ни в чём, кажется, не менялся.

Как это хорошо, когда в родном городе тебя встречает человек, оставшийся верным стражем твоего детства! Время сравняло возраст, и он уже не настолько старше, как казалось раньше. Но почему же при каждой встрече робею перед ним? Как там было, в нашем уставе? «...обязан... не жалеть для науки ни сил, ни времени, ни жизни. Верить в осуществимость невозможного...» Верить в невозможное! Здесь есть что-то гриновское. Грин тоже жил в Крыму и под этими самыми звездами писал о Фрэзи, бегущей по волнам, и о Друде, летающем на «крыльях» собственной души. В детстве гриновские мечты совсем реальны, а потом... Наш В. В., может быть, вернее, чем любой из нас, его воспитанников, пронёс через жизнь эту веру в осуществимость невозможного. И не меняется он, очевидно, потому, что ничему не изменил. Может быть, оттого-то я перед ним робею?

Об открытии Новой в созвездии Лебедя я наслышана ещё в Москве. Но вот увидеть её — увы! — не удалось. Всё собиралась, но что-то мешало. А теперь она отсияла. И сколько ни пяль теперь глаза в небо — поздно, не увидишь. А была она самой яркой из всех новых звезд, зажигавшихся когда бы то ни было в нашей Галактике. Стоило только вовремя остановиться и посмотреть вверх. Ни за чем, ни ради какой пользы, но ведь так хочется (и даже необходимо!) увидеть Новую.

«...Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» — спрашивал, нет, утверждал Маяковский. Явилась Новая и, как факт, выявила: деловые, скептичные, вечно спешащие люди космического века не утратили первозданного интереса к звёздам.

Более пятидесяти телеграмм о Новой Лебедя пришли в разные астрономические учреждения столицы. Я встречалась в Москве с профессором Борисом Васильевичем Кухаркиным, с тем знаменитым Кухаркиным, книжки которого мы когда-то в запой читали в СОЛА; так вот он рассказывал:

— Ещё не бывало, чтоб какую-то Новую публика почтила столь пристальным вниманием. На моей памяти вспыхивало несколько новых звезд, довольно ярких, но приходило о них пять-семь сообщений, не более. А тут — шквал. Первым позвонил из Крыма студент физфака МГУ Сергей Шугаров. (Он там на практике.) Звонит, заикается от волнения. Между прочим, разбудил меня своим звонком среди ночи. А утром стали сыпаться телеграммы отовсюду... Кроме профессионалов-исследователей, в числе открывателей Новой Лебедя есть инженеры, рабочие, школьники.

— Пятьдесят человек и все открыватели?

— А как же? Ведь не знали мы, к примеру, не могли сразу знать, что за шесть часов до Сергея Шугарова Новую Лебедя уже заметили в Японии. Вплоть до официального сообщения каждый, кто сам увидел новую звезду, считается её открывателем. В конце концов, шанс оказаться самым первым есть у каждого.

И вспомнил профессор, как запыхавшийся мальчишка ворвался в кабинет и прямо с порога: я открыл новую звезду! Ещё вчера! А дома, в Павловском Посаде, ему не поверили. Телеграмму не приняли. С почты его выгнали. И разве мог он спокойно сидеть на уроках, когда наука, может быть, теряет великое открытие, а он — единственный, кто обязан науку спасти? Тут у мальчишки брызнули из глаз слёзы.

«Вот, а вы говорите, — улыбался профессор. — Конечно же, все пятьдесят человек — независимые открыватели».

Как это здорово — быть «независимым открывателем»! Уметь плакать из-за звёзд. Верить, что ты и только ты открыл Новую. Здесь «твоя звезда» звучит в самом прямом значении. Здесь литературный штамп взрывается первозданным смыслом.

Когда в космосе взрывается переменная звезда, в небе появляется Новая. Каждая Новая звезда — результат взрыва. Это я помню ещё со времен СОЛА.

...Мы шастали по созвездиям, как по знакомым улицам, и каждый хотел открыть новую (свою!) звезду.

...Однажды, возвратившись после долгого отсутствия в Симферополь, я пришла в наш старый парк и вдруг заметила, что в дальнем тенистом углу светятся купола. Сразу поняла: эту обсерваторию построили сами солавцы. Было лето, все ребята разъехались в экспедиции, и обсерватория стояла закрытой. Долго бродила я вокруг. Окна и стены молчали. Неприступно и отчуждённо стояла, воплотившись в камень, мечта нашего детства, сбывшаяся без нас. Как позавидовала я в тот вечер Василию Васильевичу!

Воздушные замки нашего детства. Неожиданно они оказываются самыми прочными. В них можно возвращаться всю жизнь. Я верю: как бы ни сложились судьбы нынешних солавцев — станут или не станут они астрономами, — а «звёздное вещество» останется в душе каждого из них.

Помню, с каким искренним сочувствием смотрели мы на своих одноклассников, которые «просто учились», какой пустыней казалась нам их жизнь. «Человек успеет сделать всё, что захочет» — этот пункт солавского устава много раз помогал мне в жизни и обязывал...

— А знаешь, небо справедливо, — как всегда, с иронией начинает В. В. — Представь, Новая звезда открылась тому из солавцев, кто больше всех хотел её открыть.

Так случилось, что ещё до встречи со студентом Сергеем Шугаровым (к нему в посёлок Научный была моя командировка) я познакомилась с другим «независимым открывателем», которого тоже зовут Сергей, фамилия — Ощепков. Десятиклассник. Солавец.

И был это задумчивый мальчик с тонкими чертами лица, с тёмными большими глазами. И говорили о нём: «Конечно, Сергею повезло, но он это заслужил». Однажды в экспедиции они открыли новую комету, вернее, думали, что открыли, а потом оказалось: ещё раньше её увидели в Японии. И вот Сергей после этого сам не свой ходил. В глазах тоска такая, что сразу видно — трудно человеку жить без Новой. Возвратившись домой, решил просыпаться в четыре утра и наблюдать, наблюдать... Торчал на своём балконе все рассветы, благо на пятом этаже живёт — небо близко.

За день до того, как зажглась Новая Лебедя, Сергею исполнилось шестнадцать. Солавцы подарили ему карту звёздного неба с надписью: «Самому зоркому наблюдателю, открывателю новых и сверхновых...» Надо же, предсказали!

А на следующий вечер солавцы Сергей, Андрей и Костя, посмотрев по телевизору кинокомедию, шли в СОЛА наблюдать Юпитер. Андрей и Костя говорили о комедии, а Сергей, как всегда («он всё лето, как фанатик, не отрывал глаз от неба»), взглянул вверх, заметил в Лебеде непонятную звезду и закричал на всю улицу: «Новая!» Ребята сначала не поверили, посмеялись, купили ещё мороженого. А он стоял, запрокинув голову, и вычислял координаты.

— Понимаешь, какая чертовщина, — признаётся В. В., отводя меня в сторону. — Я ведь тоже, когда шёл в тот вечер в СОЛА, почувствовал что-то неладное в небе. Вот, думаю, Лебедь звёзды выжимает. Новая-то, знаешь, почти оранжевая, как ёлочный шар, висела. Ну и? Почувствовал что-то, но не осознал, отчёта себе не отдал, что вижу-то Новую! Теперь оправдываю себя: наверно, ветки от меня её быстро закрыли, а через час врываются эти трое с дающими пломбирами: «Атлас! Где атлас? Новая!» Конечно, этот мальчик именно потому увидел (узнал!) Новую, что ждал её.

Такое любопытное признание.

Действительно, как много открытий в нашей жизни не совершается только потому, что люди разучились верить в чудо, что не ждём мы, не ищем своё «а вдруг?».

Если бы детство не уходило... Если бы сохранить в себе способность всему удивляться, на все предметы, явления смотреть непредубеждённым взглядом, каждую минуту помнить: «Живу я в мире в первый раз».

Впрочем, при чём тут возраст?

В сокращенном виде статья была напечатана в августе 1960 г. под названием «Серебряные купола». Это была моя первая публикация в «Комсомольской правде», за нее меня и взяли в газету. То есть благодаря СОЛА.

* * *

Сегодняшние впечатления об ушедшей юности

(Из дневниковых записей автора)

...Было так: экзамены пахли сиренью. Махровую, персидскую, чуть голубую, и, как чернила, фиолетовую, мы наламывали сирень охапками. В своих палисадниках. В дни экзаменов школа в сиреневом дыму. Букеты на столах, на подоконниках, даже на полу, в углу, прямо в ведре — самая большая сирень. «Цветы помогают думать», — считала наша учительница математики.

Но разве потому сирень? Нет, магия совсем в другом. Нести сирень — вот главное! Нести живое, пушистое, влажное, то ли от росы, то ли от самой своей зелёной сущности, нести — и прислушиваться... Помните запах? Тревога в нём, надежда. В сирень можно погрузить разгорячённое лицо, и она омоет утешающим ливнем. Есть у сирени и такой секрет: вдруг из пушистого облака выскакивает на глаза один особенный цветок — у всех четыре лепестка, а у него — пять. Ты не искал его, он сам явился. Чтоб тебя поддержать: пять лепестков — пятёрка, которую ты через какой-нибудь час получишь (обязательно получишь!) на экзамене.

Ах, как просто, как впрямую сбывались в детстве удачи, нагаданные сиренью. Нести сирень — как лететь на воздушном шаре Надежды.

Было так: экзамены пахли сиренью. Сегодня пахнет экзаменами сирень.

ХОТЬ БЫ ДОЖДЬ ПОШЁЛ...

Человек подобен дроби, числитель есть то, что он есть, а знаменатель то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь.
Л. ТОЛСТОЙ

Однажды она предложила путешествие по крышам. «И обязательно ночью. Иначе вы не поймёте наш город». А мне хотелось понять её, и я согласилась. Как она находила в темноте все эти перекладины и пожарные лестницы, одни-единственные, по которым только и можно было пройти, проползти, пробраться, — не знаю. Помню только её длинные, цвета луны, волосы. Она была во всем чёрном (брюки, свитер), сливалась с ночью, и только волосы, фосфоресцируя, развеваясь впереди, — факел — вели. Шла она не оглядываясь, в самых опасных местах ждала, подавала руку, потом снова убегала вперед, и минутами чудилось: она умеет летать.

Наконец, мы пришли к какому-то краю, дальше связь домов терялась. Улица недостижимо плескалась внизу, улица последних шагов, тихих голосов и неонового света. А небо опустилось так близко, что трубы, казалось, могут его проткнуть. Долго смотрели, как в окнах гаснут огни. Потом она прочла:

Стой, приглядись,
Осуждать не спеши,
Сначала послушай,
Что скажут крыши.
Под ржавчиной рыжей
Ночи и мудрости
чернота…

Она, конечно, догадывалась о моём двойственном отношении к ней и своими стихами заранее защищалась: «Осуждать не спеши!»

...Как интересно, но как всё-таки трудно быть журналистом. Волей-неволей входишь в чью-то жизнь, выслушиваешь чьи-то признания, сочувствуешь, а потом, спохватившись, вспоминаешь о роли объективного судьи, на которую обрекает тебя профессия. Говорю, разумеется, о тех сложных жизненных конфликтах, где нет черно-белой границы между добром и злом и где сам виноватый, может быть, больше, чем другие, нуждается в защите от самого себя. Не раз, бывало, отказывалась я писать статью, если появлялась надежда, что в самом человеке после всего, что с ним переговорено и как бы заново пережито, пробудился самый главный, самый строгий судья — собственная совесть.

Девушка с волосами цвета луны — это три года моей надежды — увы! — не сбывшейся.

Рассказал мне о Тане человек, которого знаю давно и мнение которого весьма уважаю. Буду называть его здесь Н. Д. Как-то в беседе с ним всплыло слово «брутальность». (Слово украинское: брутальный — грубый, непочтительный, наглый, дерзкий, деспотичный — из словаря.) Н. Д. сказал

тогда, что в стремительном нашем времени, времени деловых, презирающих эмоции людей, его пугает всё напористей проступающая «брутальность». А потом вспомнил про Таню. Знает он её с детства. Семья Н. Д. несколько лет жила в одной коммунальной квартире с Таней и с её матерью Ириной Михайловной. Дружба с этой женщиной сохранилась до сих пор, и «страшно смотреть на страдания матери, над которой буквально издевается собственная дочь».

Услышанное взволновало меня в основном потому, что сама Таня в рассказе Н. Д. выглядела очень уж яркой личностью, полной противоречий, гордой, независимой. Вскоре Н. Д. уехал в свой город, а через месяц пришло это короткое письмо:

«Если Таня узнает, что я согласилась на ваш приезд, не простит мне всю жизнь. Но что ж поделать, у меня нет другого выхода. В нашем городе для Тани не осталось авторитетов. Приезжайте.

Мама Тани».

Я всё не решалась ехать, откладывала. Потом случай: в том городе проводился конкурс поэзии молодых. Я поехала писать об этом конкурсе и среди стихов, уже отобранных жюри в число лучших, обнаружила и Танины. Прекрасный повод познакомиться с ней, ничего не говоря о письме матери. Впрочем, стихи её и в самом деле обращали на себя внимание, выделяясь среди прочих отсутствием детских банальностей. Тревожная интонация, нетерпение поиска, тоска по красоте, которая «пылью мещанства запорошена». Строчки не везде ладили с рифмой, но видно было: это не

особенно заботит автора. Автор спешит скорей выплеснуть свою переполненность, свою перегруженность, с которыми сладить молча трудно. Мне говорили, что стихи она пишет на обрывках бумаги, на промокашках, обложках тетрадей. Не дорожит строчками, разбрасывает. Оказывается, это Танина соседка по парте тайком переписывала её стихи в альбом, а потом Н. Д., все тот же добрый Н. Д., послал стихи на конкурс.

Самой же Тане, как сообщила она при встрече, «возиться со всей этой галиматьёй лень». На успех в конкурсе «абсолютно наплевать» — сказала. И не соврала — потом я имела много случаев заметить в ней такое вот безразличие к мнению, к оценкам со стороны. Черта эта сразу, залпом, пленила. Сама Таня показалась похожей на свои отнюдь не ученические стихи — порывистая, чуть резковатая, слегка небрежная в одежде, не обращающая, видимо, на неё, как и на рифмы в стихах, особого внимания. Свободный от мелочей, естественный человек.

Может быть, мать просто не в состоянии понять свою незаурядную дочь?

У Ирины Михайловны волосы такого же цвета, как у Тани, глаза такие же выразительные, как у Тани, но узкие, поджатые губы делают лицо жестким. Она ревниво выспрашивала: как мне «показалась» Таня. Настороженно выслушивала мои предположения и часто вздыхала. Чувствовалось, ей не раз хотелось возразить, но она себя сдерживала.

Ирина Михайловна разошлась с мужем, когда Тане было пять лет. Из-за Тани отказалась от всякой личной жизни. Работала днями, училась вечерами. Ухитрилась

закончить заочный институт, правда, некоторые экзамены ходила сдавать с дочкой за руку — не на кого было оставить. «Вот... А теперь я у неё получаюсь самая глупая, самая ничтожная. Есть я, нет меня — ей безразлично», — горько усмехнулась и спросила: «Знаете, почему бабушки так любят своих внуков?» Не дожидаясь ответа, выпалила: «Потому что во внуках растут враги их врагов». Сразу я не поняла. Она невозмутимо продолжила: «Что ж тут неясно? Неблагодарность детей к родителям запрограммирована природой. Мой будущий внук когда-нибудь отомстит моей дочери...»

Тут я, помню, подумала: ну, тупик, мать и дочь одинаково нетерпимы друг к другу. Признание Ирины Михайловны об «отмщении внуков» отпугнуло и надолго отдалило от неё.

Таня была мне понятней, она рассуждала о матери спокойно, разумно: «Она у меня хороший, замечательный человек, я её люблю, очень люблю. Но почему она не хочет признать, что я тоже человек? Относится ко мне как к своей собственности, следит за каждым шагом, даже письма читает... Хочет мне добра? Да, я понимаю, взрослые мудры. У них опыт. Они знают, как правильно, а как — ошибка. Но зачем же непрерывно попрекать, нудить? Ведь сами когда-то ошибались, да? Почему же от нас требовать «иначе»? Почему мы не имеем права на собственные ошибки?» Вздохнула: «Нет, никогда взрослые не поймут нас, молодых».

Я невольно улыбнулась, вспомнив, как мой сын, прочитав впервые «Маленького принца», сделал вывод: «Правильно написано, никогда взрослые не поймут детей». Она по-

своему истолковала мою улыбку: «Не сердитесь, я понимаю, что не все взрослые такие. С вами я откровенна».

Рассказывая о матери, Таня всё повторяла «она» или «моя милая мамочка» с издевкой... Оказывается, мать постоянно попрекает Таню похожестью на отца. Свою ненависть к человеку, который испортил ей жизнь, мать перенесла на дочь. Но, может быть, матери можно и посочувствовать? Таня смотрит пристальным, таким правдивым взглядом и произносит:

— Мне ничего не стоило бы сделать её счастливой, но я не хочу. Мне лень.

— Лень?!

— Да. Она требует от меня лицемерия. Неважно, что у меня внутри, главное, чтоб я выглядела послушной: тётенька, здрасьте! Вечно меряет себя и меня по другим семьям. Завидует чужому благополучию: ей только одного хочется, чтоб у нас было всё нормальненько. Она с детства старалась втиснуть меня в узенькие, обывательские рамки.

Как-то Танин одноклассник сказал мне: «Таню в нашей школе считают символом современной молодёжи». — Как это — «символом»? — переспросила я. Он съёжился от высокопарности своих слов, стал сбивчиво говорить о её внутренней свободе, независимости и глубине. Тогда я не знала Таню, как знаю сейчас, и поверила — он прав. Я многому тогда верила.

Мне было хорошо с Таней. Город, в котором она жила, поэтичен сам по себе, но оттого, что она, такая, была рядом, заброшенный парк, старинный замок, обыкновенная улица превращались в нечто волшебное. Я встречала Таню в местах самых неожиданных. Пошла

на вернисаж местного художника, пошла одна (было утро, Таня в школе) и вдруг встретила там её. Таня сбежала с уроков. У меня сил не хватило ругать её. Вечером она показала свои акварели, о которых до тех пор молчала. В другой раз на репетиции самодеятельного театра, о котором я собиралась писать, мы снова, не сговариваясь, встретились. Оказывается, Таня там свой человек. Режиссёр театра потом рассказывал: «Мы пробовали Таню на главную роль, она дала такое самобытное толкование образа, так выделялась, что, понимаете, нас могли бы упрекнуть в нарушении ансамбля. Жалко было отказываться, но...» Ещё Таня занималась бейсболом, участвовала в велосипедных гонках, любила Баха и водила меня в дом, где мы слушали Хиндемита (она — с глубоким знанием, меткими комментариями).

В общем, представлялось мне, что Таня — человек, живущий по естественным законам своего сердца. Говорила она мне о внутреннем, нравящемся ей одиночестве, и я видела в этом завидный, редкий дар личности — самодостаточность.

Значит, всё это суть? Но разве соизмеримы с сутью такие частности, как двойки в школе, грубость учителям, жестокость к матери. Наши недостатки, как известно, продолжение наших достоинств. И если положить на весы... Как далеко они ушли от нас, нынешние молодые, думала я, и не мудрено, что порою нам трудно понять их. Пыталась убедить в этом других «взрослых». И, кажется, сумела в чём-то уверить самого Н. Д. И даже жена Н. Д., Марина, отзывчивая вообще, а особенно к беде своей близкой подруги Ирины Михайловны, даже она

согласилась однажды: « Наверное, Тане нужна была бы другая мама».

«...Когда смотришь, как в весенней радости тает лед, хочется всем людям сделать приятное», — писала Таня в школьном сочинении. Да, она умеет прибежать на помощь, рассудить, утешить. «Мой самый преданный друг», — говорили о ней девушка, юноша, ещё девушка. «Двоечница» — кумир класса. Не парадокс ли? Я была знакома с женщиной, много прожившей, глубоко образованной женщиной, которая тоже считает Таню своим другом. Таня приносит ей букеты роз по утрам и с таким же вдохновением моет у неё полы, даже на лестнице моет. А дома... Ирина Михайловна была больна, просила растопить печь — Таня убежала на танцы. «Мне лекарства не купит. Неделями слова не скажет...» Да как же всё это совместить?

Почему они так непримиримы?

«Я её люблю, очень люблю...» (Дочь.)

«Знаете, почему бабушки так любят своих внуков?.. Во внуках растут враги их врагов». (Мать.)

Танина позиция, что и говорить, выглядела куда привлекательней. Оправданием её труднообъяснимого поведения были для меня тогда строчки из её почти детских, кажется, в пятом классе написанных стихов («Самокритика»):

Таня, Таня! Разве можно
Песни петь неосторожно.
С математики сбегать
И историю срывать?
Ах, нехорошо!
Хоть бы дождь пошёл.

Ну, не может человек с собой сладить и призывает на помощь... дождь. Этот её вздох — «хоть бы дождь пошёл» — гипнотизировал. Какая свобода! Да, она свободна, как дождь, как облако... Вспоминалось признание одной её учительницы: «К таким самобытным натурам, как Таня, особый подход нужен. Иногда мне кажется, что многие свои выверты она делает нам всем назло».

В общем, хотелось подтолкнуть время: скорее бы кончала Таня школу, из которой давно выросла, скорее бы вступала в настоящую жизнь, где всё сразу станет на свои места, и тогда обязательно совершит то особенное, на что она, конечно же, способна.

С этим я уезжала.

Очень скоро в Москву стали приходить письма. Не от Тани, от Ирины Михайловны. Таня молчала. Даже на мои письма (два или три раза, получив очередное отчаянное известие от матери, я Тане писала), она не отвечала.

Из писем матери:

«...Сейчас выпускные экзамены, а Таня по-прежнему свой день и вечер делит между Аликом и Андреем. Перед экзаменами выяснилось: физика на осень. Таня приезжала ко мне на работу, просила пойти к директору. До этого мы с ней почти месяц не разговаривали. Был у меня день рождения, так она телеграммой (в одной комнате живем!) поздравила, а вслух — ни слова.

Но я всё-таки пошла к директору. Это не помогло. Тогда бросилась в облисполком к одному знакомому, который через облоно добился, чтоб Таню допустили к экзаменам. Конечно, мне пришлось порядком поунижаться и поплакать. А вечером Таня сказала: «Могла бы никуда

не ходить. Я и без тебя добилась бы». И опять приняла свой гордый, независимый вид.

...После вашего отъезда я всё передумала и о себе, и о ней. Она — талантливая, умная, я с вами согласна. Но почему же такая жестокая? Неужели только потому, что у меня не хватило выдержки и терпения? Но в других семьях, я знаю, бывает ещё хуже и всё же дети остаются хорошими.

...Таня уехала в деревню к бабушке с дедушкой, будет готовиться, потом поедет поступать на журналистику. После того, как отправила Таню, всё потеряло смысл. Только сейчас по-настоящему поняла, что осталась одна и что в жизни ничего не сделала. У меня есть недостаток: я не умею прощать и не могу с собой ничего поделать. Вот почему я рассталась с самыми близкими, дорогими мне людьми. Да, я не смогла сладить ни с Таней, ни с её отцом. Но ведь эти два человека, и только они, причинили мне столько горя. Оба никогда не интересовались моим миром, а он у меня есть так же, как и у них.

Вы мне много говорили о сложном внутреннем мире Тани. Но почему же она не откроет мне этот свой мир? Она любит природу, она, как вы говорили, «преклоняется перед Человеком, постигшим сезанновское небо». Но ведь и я люблю Сезанна, я подолгу рассматриваю все репродукции, которые она приносит. Делаю это, правда, тайком, а то она, как обычно, уничтожающе посмотрит на меня: «Фу, что ты понимаешь?».

Она забыла, а может быть, и не хочет помнить, как мы с ней, маленькой, ходили в один уголок нашей

крепости и там со стены смотрели закаты и пели песни всех времён, какие только я помнила. Читала ей много стихов, и, удивительно, в тот же вечер она пересказывала их наизусть бабушке и дедушке. Я радовалась: какая память у девочки, растёт моя гордость, сравнивала, извините за нескромность, дочку с собой. Я тоже когда-то в юности за один день выучила всего «Мцыри» и выступала на вечере. Я очень люблю Лермонтова, но теперь, как Таня говорит, классика не в моде.

Мне сейчас очень тяжело, я как деревянная.

...Только что получила письмо от деда, который возил Таню в Киев на экзамены. Пересылаю письмо Вам. Видите, она обежала с первого же экзамена. Ей просто «не захотелось», как она любит выражаться, идти сдавать. А может быть, всего лишь поняла, что ничего толком не знает? Конечно, дедушкиным методом от Тани ничего не добьёшься, но могла же она не доводить старика до сердечного приступа?

Настроение ужасное. Пустота, пустота. А иногда бывает такое, что хочется (видно, как Тане) куда-то высоко взлететь. Закричала бы там на весь мир. Крик этот сидит во мне и душит меня. Нечем дышать.

...Таня дома. Ничего не делает. Ходит неряшливо, даже волосы толком не причёсывает. Вчера прямо в туфлях улеглась на тахту читать (Вы помните, наверное, что у нас новая мебель, я много лет копила деньги). Я сделала ей замечание и опять услышала в ответ, что я мещанка и мелочная. Что же делать? Мы с Мариной и Н. Д. сидим иногда допоздна (когда Н. Д. свободен) и всё думаем,

думаем... Так трудно было в жизни, даже всё это земное, «мещанское» давалось мне с таким трудом. «Свою жизнь нужно сделать интересной», — говорит Н. Д. Но я считаю, что для этого нужно быть гением, а так невозможно.

Ездила за грибами. Как-то успокаиваюсь там. Несколько ночей хорошо спала. Прочла одну книгу. Психологическая вещь. Не могла оторваться. Нашла там Таню и себя...

...У нас радость: Таня работает. Правда, клеит пакеты, занятие нудное. Но всё-таки дело. Очень верю, что теперь Таня узнает, как нелегко добывается копейка, и многое в жизни переоценит. Это моя мечта, а как будет — неизвестно...»

Месяц или два писем от Ирины Михайловны не было, и я стала успокаиваться: значит, что-то к лучшему там у них изменилось. Но вот однажды поздно вечером у меня дома раздался звонок, обыкновенный, не междугородный, в трубке — Танин голос. Близкий, как из соседнего подъезда. Таня в Москве? Что-нибудь случилось? Она — со смехом: «Разве нельзя приехать просто так?» — «Мама знает?» Что-то неопределённое в ответ, и стала спрашивать, когда я смогу её увидеть.

В назначенный час Таня в редакцию не пришла, до вечера я напрасно ждала хотя бы её звонка. Вместо неё звонила из своего города Ирина Михайловна, обрадовалась, что Таня наконец нашлась, засыпала меня вопросами: «Здорова ли Таня? Где живёт? Нужно ли перевести ей денег?» На следующее утро я потратила немало времени, убеждая Таню послать телеграмму — успокоить мать. Она упорно не понимала, зачем это нужно.

И вот тогда, именно в тот день, мне стало противно за обман, которому я так долго верила, в котором своим всепрощением, своим слепым восхищением почти участвовала, пытаясь отстоять, обелить Таню от «нападок взрослых», оправдать её поведение трудностями возраста, необычностью натуры.

Теперь всё это уже не имело значения. Передо мной сидела другая Таня. Не школьница. Прожившая почти год столь страстно желаемой свободы, но прежним тоном обиженного ребёнка, небрежно стряхивая пепел сигареты прямо в цветы (это мелочь, но она своей оскорбительностью запомнилась), рассказывала...

...Её снова не поняли «они». Опять «все плохие». Опять скандал. И:

— Прибежала на работу эта девочка (так о матери — «девочка») и устроила такое...

Молчание. Нервно кусает губы.

— В общем, моя милая мамочка устроила такое, что мне стало на всё плевать, и вот я здесь.

Перед глазами пылали болью строки писем Ирины Михайловны. И я сказала (к сожалению, впервые, с таким долгим опозданием) то горькое, что теперь знала, видела, думала о Тане. И тут произошла мгновенная метаморфоза. Куда-то делась поэтичная поволока её глаз — они смотрели теперь зло, сухо; голос, её волшебный, низкий голос, тоже утратил свои переливы. Она была... совсем некрасивой и, странно сказать, весьма постаревшей.

Мне снова стало за неё больно, её жалко, и тогда... Я зачем-то стала рассказывать ей о том, о чём почти никому не в силах была в ту пору говорить:

— Таня, Таня... Понимаешь, Таня... Недавно я потеряла отца.

...Всегда казалось, что отношусь к нему как дети и должны относиться к родителям. Аккуратно писала письма. Ни разу не забыла поздравить с праздником. Приезжая в родной город, привозила подарки.

Но что я знала о нём? Да и видела ли его, когда на него смотрела? Чувствовала ли в нём когда-нибудь просто человека? Нет, лишь отца. Как в матери — лишь мать. Они, двое (только сейчас это осознаю), были мне как луна, повернутая неизменно одной и той же стороной, родительской, привязанные — казалось, навечно — тяготением своей верной любви. Ну а я, я в этой модели представлялась себе, разумеется, землёй, ради которой луна существует и вертится. Но что я знала, что хотела знать про обратную сторону луны? Как-то и в голову не приходило, что там свои моря, кратеры, вулканы...

В те редкие часы, когда бывала дома, минуты не находила, чтоб поговорить с отцом, да и как-то не о чем было. А он так ждал, с такой виноватой робостью обо всех моих пустяках спрашивал. Сколько хочется рассказать ему теперь...

Теперь, когда случилось непоправимое, не проходит дня, часа, чтоб не думала о нём.. Наконец-то я его увидела как отдельного человека, немного как чужого — со стороны. И почувствовала наконец, каким настоящим он был. Проститься с ним приезжали люди из многих городов. Я не думала, что у него столько друзей. Мне он тоже, оказывается, был не просто отцом — другом. Безответно.

Но теперь поздно. Всё поздно.

— Знаешь, Таня, есть такое страшное слово — «никогда». Невыносимо раскаяние, которому уже некуда вылиться...

Кажется, она внимательно — а может быть, просто вежливо — слушала, но когда я посмотрела ей в глаза, они были всё те же — заледеневшие и отчуждённые, и ещё... Ещё в них мелькнула скука. Лучше бы я этого не заметила. Но вдруг мне только показалось? Вдруг этот холод просто оттого, что Таня восприняла мой рассказ как очередное нравоучение?

В памяти одна за другой проносятся картинки из моего пребывания в её городе. Мы идём по улице, о чём-то болтаем с Таней, останавливаемся у большого серого дома. Здесь работает Ирина Михайловна. В какой-то связи говорю, что у её матери нервная работа — нелегко руководить большим отделом. «Как? — удивляется Таня. — А я думала, она простой бухгалтер...»

Мы втроём едем в горы. Этой поездкой я наивно надеюсь хоть как-то их сблизить. Ирина Михайловна остаётся у подножия перевала, мы с Таней забираемся на самый верх, там снег и брусника. Таня весело лепит, бросает снежки, а потом в покрасневшие ладони собирает бруснику. Я предполагаю: наверное, готовит сюрприз для Алика, «её мальчика», или, может быть, для Андрея, «её друга». Нет, мы спускаемся, и Таня дарит бруснику матери. Ирина Михайловна недоверчиво улыбается, а я искренне радуюсь...

Неужели та подаренная брусника была такой же ложью, как и слова: «Она у меня хороший, замечательный человек, и я её люблю, очень люблю»? Неужели вся сложность

Таниной натуры в том, что она играет в красивые чувства, которых на самом деле не испытывает?

Тяжело сидеть с человеком и думать о нём плохое. Превозмогая неловкость, спрашиваю:

— Как Алик?

— Какой Алик? А-а-а... — машет рукой. — Завербовался. Уехал.

— Из-за тебя?

— Кажется.

Молчим. Она непрерывно курит. Кончились спички. Зажигает сигареты одну от другой. В уголках губ — тонкая страдальческая гримаска. Не могу понять: переживает она сейчас какие-то неприятные для себя эмоции или только мне хочет показать, что переживает...

Перед отъездом, дней через десять, Таня позвонила и, как всегда, неожиданно опросила: «Стоит ли мне возвращаться домой или лучше снять комнату?»

Но что значил для нее мой совет?!

Она ушла из дома. Приехала, собрала вещи (Ирина Михайловна была на работе) и ушла. В тот период стала почему-то писать мне письма. Наконец я увидела её косой, жёсткий, совершенно мужской почерк. В одном из писем было: «Слушайте, а махнём летом в Прибалтику?» Восьмого марта прислала телеграмму: «Воздушные замки тоже проветривают».

Последнее из её писем:

«Требуя от меня снисходительности, вы требуете от меня убийства моего чувства к ней. Когда мне будет всё равно, кто передо мной, тогда я буду вполне сносным человеком. Мне трудно вам объяснить всё это. В снежном коме слишком много снежинок...»

На это письмо я не ответила. Слишком оно красиво, эффектно. Так же красиво и эффектно, как приносить розы в подарок. Как мыть пол в чужом доме. Как совершать ради кого-то чужого добрый поступок, который ему, чужому, может быть, и ни к чему, а матери был бы спасительным глотком в пустыне. Но не ей — им, чужим. Они восхитятся. В них можно отразиться, как в зеркале.

Я тоже была зеркалом. Так долго... И за это мне предстояло испытать гнетущее чувство вины перед матерью. Перед её матерью, перед своей — тоже.

«Комсомольская правда», 1968 г.

ЖИЗНЬ — КАК ТВОРЧЕСТВО

Каждый человек может стать художником
своей жизни и установить с миром —
как бы это выразиться поточнее?..—
отношения взаимотворчества!
В.Д.Пришвина

Давно это было — кто-то пригласил меня поехать в подмосковную деревню Дунино познакомиться с вдовой М. М. Пришвина — Валерией Дмитриевной. Теперь даже трудно понять, как могла я, любя Пришвина, не хрестоматийного певца природы Пришвина, а тонкого знатока души человеческой (этого — главного — Пришвина нам еще постигать и постигать), как могла никогда раньше не задуматься, не поинтересоваться даже, что же сталось с той, которой посвящены его «Фацелия», лучшие страницы его дневников. Может быть, дело в том, что творчество Пришвина, став классикой, будто отдалилось от нас на пьедестал времени, куда-то ближе к XIX веку. И просто в голову не приходит, что «Фацелия» может жить сегодня. Неужели стоит сесть в электричку — и догонишь другую, бывшую до нас эпоху? Это чудо оказалось вполне реальным, как реальны, впрочем, и многие другие чудеса, но мы их не замечаем просто потому, что в них не верим.

Встреча с Валерией Дмитриевной, а потом и многолетняя — вплоть до ее кончины — дружба с нею стала таким событием

моей жизни, за которое хочется без устали благодарить судьбу. Должна сразу же заметить, что была я, разумеется, одной из многих, которые тянулись к ней и которых она со всей своей безоглядной щедростью одаривала родственным вниманием. Никогда не имевшая своих детей, была она постоянно окружена молодыми людьми, нуждавшимися в ее духовном материнстве. С каждым у нее были свои, особые отношения, никого она не выделяла и себя — в смысле возраста — от нас не отделяла. Умела она удивительным образом «любить всех одинаково, но каждого больше». «Этот закон любви естественно заложен в самой природе», — часто повторяла она.

С таким мироощущением пришла она в свое время в жизнь Пришвина и принесла эту тему как главный центр нравственных исканий в его дальнейшее творчество. В конце дней своих Пришвин писал:

«...Смотрю сейчас на елку, и мне представляется в ней живое существо, идущее из тени к свету. Каждый сук по-своему и со своим лицом несет и отдает свою жизнь на образование ствола... И великое солнце любит все ветви, все лапки, все иголочки. Но как будто оно любит всех-то равно, а каждую иголочку больше, и вот отчего ни одна даже иголка с другой не сложится: все разные, а ствол прямой поднимается к солнцу...

Вот бы и нам так устроиться в жизни — чего бы лучше! Но мы, если любим всех, то забываем о каждом, и если вспомним каждого — то забываем всех.

Тема нашего времени... как любить всех, чтобы сохранить внимание к каждому?»

Итак, первый секрет жизни, который она нам открыла, — это закон любви:

— Любовь — неведомая страна, в которую мы плывем каждый на своем корабле и каждый сам себе капитан. Что есть любовь? Это единение человека с другими людьми, со всем сущим, это стремление к вечности.

Как жаль, что ее слова, такие живые в моей памяти, искрящиеся (у Валерии Дмитриевны был звонкий, молодой голос, порой с озорными оттенками), сейчас, когда переношу их на бумагу, тускнеют, как морские камешки, вынутые из воды. С этим нужно, наверное, смириться, ведь главное — донести смысл ее слов.

Она говорила:

— Если жизнь не представляется тебе великим, незаслуженным счастьем, ищи вину в себе. Вина — в эгоизме, в желании радости только для себя.

Когда я впервые ее увидела (увидела сначала издали, идущую по аллее к дому), она показалась мне величественной... как статуи Летнего сада. Смешно даже вспоминать это первое внешнее впечатление — так не соответствует оно внутренней ее простоте и естественности.

Была ли красивой женщина, встреченная Пришвиным уже на склоне лет и ставшая его единственной за всю жизнь настоящей любовью? Множество фотографий (сам Михаил Михайлович был, как известно, заядлый фотограф) запечатлели ее меняющийся облик. Но на всех снимках она одинаково серьезна, порой даже кажется суровой. Округлый овал лица, сжатые губы, широкие скулы. Самое привлекательное в лице — глаза, большие и очень внимательные. По фотографиям, впрочем, невозможно понять главное: какие особенные были у нее глаза — умевшие смотреть из души в душу. Когда, описывая внешность

женщины, подробно говорят о ее глазах, значит... Нет, это еще ничего не значит. Просто не берусь судить, была или не была Валерия Дмитриевна красивой в общепринятом смысле этого слова.

Сам Пришвин, судя по дневникам, никогда о ее внешности не задумывался. Более того, устроив смотрины новому литературному секретарю, он при своей-то всегдашней пристальности к людям даже выражения ее лица не заметил, и вообще в первую встречу они очень не понравились друг другу.

Вглядываюсь сейчас в ее портрет (одна из последних фотографий Валерии Дмитриевны висит над моим письменным столом). Чуть расплывчатые черты, сеть морщинок в соответствии с возрастом — она ведь никогда не пользовалась услугами косметики — может быть, простоватая, на беглый взгляд, внешность, может быть, кому-то Валерия Дмитриевна покажется типичной доброй бабушкой, но если остановиться, всмотреться... Даже фотография, из-под глянца, из-под стекла, продолжает излучать все те же теплые, облагораживающие душу волны.

Никогда раньше я не встречалась с такой зримой, такой говорящей внутренней красотой и надеюсь, читатель простит, что пишу о Валерии Дмитриевне в несколько возвышенном тоне — это диктуется строем чувств, которые она в людях пробуждала. Общаясь с нею, каждый из нас испытывал тревожное ощущение, какое бывает будоражащей весной, которая всегда зовет человека подняться во всю его высоту — не пропустить бы весны, успеть почувствовать себя в жизни.

...Мы сидели на открытой круглой веранде дунинского дома (дом одноэтажный, но стоит на пригорке, и веранда,

построенная высоко над землей, как бы парит в воздухе), было время заката, небо поминутно меняло оттенки, и от этой игры света трудно было оторвать взгляд. Валерия Дмитриевна смотрела на закат и с улыбкой в голосе говорила:

— С раннего детства мне было присуще ощущение значимости, неслучайности всего происходящего. Вот говорят: страшна старость, болезни. А я одного страшусь: потерять ощущение жизни как тайны. Это самое дорогое, что у меня есть.

Сразу я и не поняла, что она сказала этим (доверила!) самое сокровенное о себе. Смысл слов о «жизни как тайне» открывался мне постепенно, по мере сближения с Валерией Дмитриевной, и не просто в словах, и не в логике поступков, а на каком-то ином, не требующем рациональных объяснений уровне, именно — открывался, становясь и моим личным переживанием, которое теперь, без нее, так нелегко удержать и так страшно утратить...

Недавно повторяли по радио старую передачу о М. М. Пришвине — прозвучал радостный голос Валерии Дмитриевны, она читала страницы из неопубликованных его дневников: «Ночью мне представилось, что очарование мое кончилось, и я уже не люблю. И я — пустой...»

Нет, ни он, ни она ни при каких обстоятельствах не теряли отношения к жизни как к тайне.

В дневниках Пришвина я нашла пронзительные строки о Валерии Дмитриевне: «Больше всего боюсь, что Л. уйдет из жизни неузнанной...» Этого, к счастью, не случилось. В. Д. Пришвина останется в нашей литературе не только как вдова Пришвина, самоотверженно работавшая (более четверти века, изо дня в день!) над его архивами, выпустившая в свет такие его сборники, как «Глаза земли»,

«Дорога к другу», «Незабудки», «Сказка о правде», останется не только как непревзойденный комментатор пришвинских дневников, но и как самостоятельный писатель со своим, непохожим ни на кого голосом.

Писать она начала давно и писала много (правда, публиковаться решилась только в последние годы жизни). О ней невозможно сказать: работала. Просто вставала утром и садилась к письменному столу каждый день, что бы там ни случилось, как бы она себя ни чувствовала, садилась за бумагу, и строчки с легкостью ложились на чистый лист, будто диктовались откуда-то. Я не раз наблюдала ее за работой и, честно сказать, завидовала: откуда такая свобода? И никаких тебе жалоб, что не приходит вдохновенье...

Один почитатель Пришвина, молодой пекарь из Таллина, в свое время писал Валерии Дмитриевне о пришвинских «Незабудках»: «Любую страницу можно положить в лесу на поляну, и она будет сама по себе, естественно жить там, ибо нет грубой границы между записью и природой, нет ошибок ни в сердце писателя, ни в строке». Сам Пришвин говорил о себе: «Пишу, как дышу, свободно и свободно». Эта же легкость письма и дыхания была свойственна и Валерии Дмитриевне, но досталась она не как бесплатный дар.

Чтобы писать свободно, из души, нужно сначала воспитать, выделать свою душу, отринув верхнее течение жизни, сосредоточившись на главном в жизни и в себе самом. Нелегко выстрадать внутреннюю свободу. Она говорила:

— Успокоительно, конечно, считать, что человека «делает» среда, обстоятельства, и я, мол, не виноват, что у меня такая судьба или, как нынче считается, «плохие гены». Но

кто может отнять у человека свободу воли, ту, которая дана ему от природы, ему одному среди всего живого? И недостойно же свободных существ всегда винить внешние силы и их виной себя оправдывать.

Вселенная наша — не механизм, и я, человек, участвую в непрерывном творческом процессе, который и есть жизнь. Да, мы движемся, изменяемся в этом живом потоке, хотим мы того или не хотим. Но вот как изменяемся — совершенствуемся или деградируем, это во многом, если не полностью, зависит от нас самих.

Человек, не отдавая себе отчета, делает ежесекундный выбор. Порой это выглядит вроде бы просто: пойти — остаться, сказать — промолчать, принять — оттолкнуть лживую мысль... Но из таких мелочей и складывается жизнь. Это только в греческих трагедиях — рок, судьба и человек, маленький, бессильный, обязательно погибает, если борется с судьбой. Нет, в жизни все движется по-иному.

— Вы хотите сказать, что каждый из нас — хозяин собственной жизни?

— Не совсем так. Я не думаю, что жизнь нужно себе подчинять, что вообще нужно вступать в какую-то злую борьбу с жизнью. Нет, не хозяин, мне ближе другое слово: художник.

Узнаю в ее словах знакомый мотив. О том, что вся жизнь есть творчество, о том, что каждый должен найти свою линию творческого поведения, свой угол творческого внимания, не раз писал Пришвин. С ранней юности до глубокой старости неустанной заботой Михаила Михайловича было — остановить, обдумать (записать) то, что происходило в его душе. Главное в наследии Пришвина — его дневники.

Нет, не ради пользы литературы вел он почти ежедневно дневник, а прежде всего из насущной потребности понять, открыть в себе человека... Вся жизнь Пришвина прошла в непрерывности этого нравственного (юношеского!) усилия.

Если понимать писателя как сочинителя, придумывающего на бумаге иную, не существовавшую жизнь, то Пришвин, пожалуй, и не был писателем. Он только передавал правду пережитого (в этом смысле все его творчество документально), опасаясь при этом «излукавить» мудрствованием первоначальность ощущения. Когда читаешь Пришвина, так и кажется: да это же сама жизнь в нем, как в капле, себя осознавала.

Известен романтический пришвинский призыв к человеку: «Открой свое небывалое!» Сам он до конца жизни этому призыву следовал. Потому и не уставал твердить нам о нашем родстве с природой, что не отвлеченно, а на своем личном опыте убедился, что природа и человек — это одно, неделимое. Как в природе все стремится к совершенству, гармонии, так и в человеке есть эта неистребимая потребность. Пришвин был искренне убежден, что каждый из нас только затем и рождается, чтобы прибавить новую черточку в картине бытия.

Как-то я заметила Валерии Дмитриевне, что такая вера в человека вдохновляюще звучит, но если посмотреть реально... Она перебила меня:

— Нет большей реальности на свете, чем идеал прекрасного Человека, живущий в душе у каждого!

Эти слова тоже прозвучали неким шифром, который потом на протяжении лет довелось разгадывать. А тогда,

в первую минуту, я ей возразила: обыденная-то наша жизнь идет отдельно от идеала.

Она согласилась:

— Конечно, нелегко отличить суть жизни от суеты, тем более что «кажимость» всегда норовит выдать себя за сущность. Но жизнь в суете, жизнь кое-как, без оглядки, когда человек не успевает задуматься, куда и зачем он идет (да, собственно, никуда он и не идет, хотя все время спешит), рано или поздно мстит опустошенностью...

Я попросила Валерию Дмитриевну рассказать, как ей самой удалось выработать стиль сосредоточенного творческого поведения. Она сначала смутилась:

— Мой, как вы говорите, стиль поведения мне не виден, и это было бы ужасно — его знать и по нему специально жить. Могу только сказать, что с первых сознательных лет думала о том, что не случайно же я появилась на свет. Мучительно хотелось понять свое назначение, не пройти мимо своей доли.

Но позвольте, я вам лучше расскажу сейчас про Агашу, как она себя в жизни нашла. Агашу мы с Михаилом Михайловичем встретили в эвакуации, когда приехали в Усолье. Простая крестьянка, проводившая мужа на фронт, бедствующая, как все мы тогда, Агаша будто светилась изнутри. «Вот сыночка мужу родила, — объяснила она нам, — раньше я так просто жила, а теперь знаю, про что живу». В войну с младенцем Агаше было, конечно, трудней, чем другим, но получается, что легче.

Так и я... Встретившись с Пришвиным, поверила в его дело, в его душу и лишь тогда поняла, про что я живу. Долгий и нелегкий был к этому путь...

Однажды Валерия Дмитриевна с горечью призналась: «Ненайденность дела привела меня к провалу в первой половине моей жизни». Вспоминая свою юность, своих сверстников из интеллигентской среды, с несвойственной ей суровостью называла те годы «сплошной говорильней». Так она сама ощущала по контрасту с последующим: первая половина жизни — «провал». Но если проследить внешние вехи ее до пришвинской биографии, кажется, что хорошая, полная была эта жизнь.

Она успела родиться в XIX веке, за два месяца до его окончания. В юности закончила Государственный институт Слова, где лекции по философии, литературе, ораторскому искусству читали люди, чьи имена стали теперь историей: А. Луначарский, В. Брюсов, Д. Ушаков, Л. Лосев (с последним она сохранила дружбу до конца своих дней). В трудные годы разрухи, переживаемые страной после гражданской войны, В. Д. Пришвина стала организатором детского дома «Школа радости» для беспризорников. Работала в разных учреждениях, была преподавателем литературы в «стахановской школе» при заводе.

По рекомендации директора Государственного литературного музея В. Д. Бонч-Бруевича в 1940 году она пришла литературным секретарем к писателю М. М. Пришвину. И осталась с ним навсегда.

Пришвин не раз писал в дневниках, что всю свою жизнь (до 67-ми лет!) будто провел в ожидании этой встречи.

Когда-то в далекой юности, за границей (учился тогда на философском факультете Лейпцигского университета) испытал он сильное потрясение от неразделенной любви к девушке-студентке. Это чувство стало для него не столько

фактом жизни, сколько фактом искусства — боль потери послужила толчком к писательству. Может быть, оттого и писал тогда Пришвин в основном о природе, оттого и казался кому-то «бесчеловечным» писателем, что только в близости с природой искал он утешения. А на личную сторону жизни будто махнул рукой. Страдая от одиночества, он вернулся в Россию и сразу женился на простой доброй женщине из смоленской деревни, «приник к ней, как к земле», прожил с нею долгую жизнь, продолжая тосковать о далекой «недоступной невесте».

Валерия Дмитриевна тоже перенесла до встречи с Михаилом Михайловичем немало потерь и испытаний, ей тоже, как и Пришвину, жизнь часто представлялась непрерывным преодолением боли, и была она в этом мужественна.

Итак, встретились два одиноких, много страдавших человека, каждый сумел сохранить в душе чистоту детства. Пришвин называл себя в ту пору «голодным поваром»: писал он постоянно о хорошем и светлом — «готовил» строчками радость для других, а сам счастья в жизни был лишен. Валерия Дмитриевна, не зная о самоощущении «голодного повара», в свою очередь пугливо думала: «Не ошибиться бы на голодную душу...»

Она пришла к нему в жизнь уже на склоне его лет. И была это короткая, но такая яркая любовь, что света хватило ровно на четверть века, что прожила она одна, без него, но все равно — с ним.

Я никогда не видела Михаила Михайловича, но оттого, что знала Валерию Дмитриевну, кажется, что и с ним лично была знакома. Приезжая летом в Дунино, приходя зимой

в Лаврушинский переулок (на двери там висела медная табличка: «М. М. Пришвин»), встречалась не только с нею, но и с ним. В квартире и в загородном доме все оставалось, как было при нем. Не только вещи на своих местах, но сам духовный уклад жизни тот же. А хозяин будто ненадолго отлучился.

Никакого мемориала. Приходя к ней (к ним), мы будто попадали на очарованный остров живой любви, где светит немеркнущая радость и властвует полное, какое только достижимо между людьми, взаимопонимание.

Но вот что писала Валерия Дмитриевна:

«...Нет, не счастьем надо бы назвать нашу трудную с Михаилом Михайловичем жизнь. Она похожа была скорее на упорную работу, на какое-то упрямое строительство: были обвалы, сыпались камни, едкая пыль жгла глаза, сил, казалось иногда, не хватает...»

Жизнь — строительство. Жизнь — творчество. Могла ли она быть легкой? Достаточно вспомнить, что радость встречи и горечь расставания стоят совсем близко. Такое знаменательное совпадение: они встретились 16 января 1940 года и ровно в этот же день — 16 января 1954 года Пришвина не стало (всего четырнадцать лет вместе, и каких лет — в них вместилась война, эвакуация, послевоенный холод, тяжелая болезнь матери Валерии Дмитриевны, уход за нею, прикованной параличом к постели, неизлечимая болезнь Михаила Михайловича...).

«Один и тот же день встречи и расставанья, как две стены, замкнувшие круг двух жизней. Эти жизни были истрачены целиком на «безделье» — так может сказать иной, — да, всего лишь на поиски смысла... Чтобы най-

ти этот смысл, надо было опереться хотя бы на одного единомышленного друга, встретить его на безнадежно запутанных дорогах мысли».

Эти записи Валерии Дмитриевны я прочла уже без нее. Жизнь, истраченная на поиски смысла жизни... А со стороны казалось: этот «смысл» всегда был при ней, как дыхание. И оттого она не суетилась, никогда никуда не спешила. Так и отпечаталось в памяти: счастье — это когда никуда не спешат. Недавно в книге одного философа я прочла: «Представление об осмысленности жизни есть награда за серьезное отношение к жизни». Конечно, сразу же отнесла эти слова к Валерии Дмитриевне.

Мы прибегали к ней со своими сиюминутными заботами и невзгодами, со своими новостями и радостями, но для нее все было значительно и важно. Если она была нужна кому-то, никогда не жалела сил, времени. Я могла бы рассказать сейчас не одну историю о том, как она помогала людям... Ну, хотя бы о том, как много лет опекала (поддерживала и морально, и материально) семью своей старой учительницы, или о том, как «вывела на дорогу» парня, вернувшегося из заключения, или о том, как каждую зиму в дом Валерии Дмитриевны привозили из подмосковной деревни маленькую, сгорбленную старушку, похожую на пугливую птицу. Была она слепая, нуждалась в уходе, как ребенок, капризничала и на несколько месяцев становилась центром, вокруг которого жизнь всего дома вертелась. Можно вспоминать еще и еще. Но, представляю, как удивилась бы Валерия Дмитриевна, узнав, что все это ставится ей в заслугу. Так что хватит иллюстраций. Моя цель — вспомнить неповторимые разговоры с нею.

Бывало часто: я приносила ей на совет какое-то письмо из редакционной почты. Она всегда внимательно выслушивала, пыталась представить, что за человек просит помощи и почему он обращается к «чужим». Помню, она буквально растерялась, услышав, что Хемингуэй в переписке с читателями пользовался печаткой: «Never letters write» («Никогда не пишу писем»). Как можно не ответить человеку? Это не умещалось в ее сознании. Довольно многочисленным своим корреспондентам отвечала с редкой в наше время аккуратностью и обстоятельностью.

Однажды совсем наивное послание: девушка писала, что одинока, что ее никто не любит и ради чего тогда жить? — вызвало у Валерии Дмитриевны возмущение:

— Почему-то принято думать, что к одинокому человеку мир должен спешить на помощь. А если перевернуть наоборот? Не ждать, пока к тебе придут, а самому шагнуть навстречу, поискать: кто, такой же одинокий и, может быть, еще более несчастливый, ждет помощи от меня? Помните у Михаила Михайловича в «Корабельной чаще»: «Не гонитесь поодиночке за теплым счастьем!» Ведь человек, оказывается, только тем и человек, что до него доходит весть о чужом существовании, весть о том, что каждый связан с каждым, что он ко всему без исключения соотнесен. Эта весть и есть наша человеческая со-весть. Так было во все века. Не думаю, чтобы сегодня что-то существенно изменилось.

Со-весть. Весть о существовании другого. Как точно и емко сказано, ни в одном словаре я не нашла потом лучшего толкования слова «совесть». А она, Валерия Дмитриевна, эти свои драгоценные открытия легко

и как бы невзначай роняла, она вообще никогда ни на чем не настаивала, не «вещала», не поучала. И, может быть, оттого ее мудрость становилась нам еще дороже. Это сейчас, издали, осознаешь, что в общении с нею как бы воскресала, становилась сегодняшней та культура, о которой мы вздыхаем, как о невозвратном прошлом. Она умела держать при себе прошлое. Например, я так часто слышала от Валерии Дмитриевны о «прекрасном докторе Гаазе», что сложилось невольное убеждение, что и его она лично знала (ведь стольких людей знала!). И как-то не хотелось отдавать себе отчет, что доктор Гааз жил и умер еще в прошлом веке. Она называла этого человека «нравственным героем».

— Да, когда одолевают меня сомнения, вспоминаю прекрасного доктора Гааза. Молодой, преуспевающий московский врач жил в довольстве и почете, его наперебой приглашали в лучшие дома, но вот однажды дела привели его в пересыльную тюрьму. День, когда он переступил порог камеры, стал последним днем его безмятежной жизни. Чудовищные страдания людей (впервые он их воочию увидел) заставили Гааза бросить все, что он имел — положение, имущество, дом. Все было отдано обездоленным. Гааз становится тюремным врачом, сам проходит по этапу в кандалах, чтобы доказать их невыносимую тяжесть. Всего, что он сделал для облегчения участи каторжан, не перечтешь. Умер этот человек одиноким и нищим. Хоронили его на «полицейский счет», однако в похоронах участвовало более двадцати тысяч человек — вся Москва. Прошло больше ста лет, но до сих пор, бывая на Введенском кладбище (Пришвин похоронен там же), на могиле Гааза видишь живые цветы.

В любое время года. Ходит легенда, что эти цветы приносят ему дальние потомки тех каторжан, спасенных доктором.

...Могилу доктора Гааза, знаменитую могилу, где на ограде висят кандалы и где на памятнике написано: «Спешите делать добро», — я посетила совсем недавно, уже без Валерии Дмитриевны. Туда, на Введенское кладбище, я ходила к ней самой — она похоронена рядом с Михаилом Михайловичем Пришвиным. Медленно раскачивались верхушки старых лип, серьезно перекликались в листве птицы, небо над этим маленьким спокойным уголком земли казалось необычно голубым и высоким. Могилу доктора Гааза мне пришлось искать долго, почему-то никто из встречных такого имени раньше не слыхал.

— Жизнь — живая, она трепещет, — сказала однажды Валерия Дмитриевна. — Люди глубоко заблуждаются, когда хотят строить будущее за счет настоящего. Главное — что происходит сегодня, сейчас.

Один из нас, присутствовавших тогда при разговоре, вздохнул: «Но в юности мы все откладываем жизнь на завтра, а в 40 начинаем жаловаться, что жизнь прошла...»

— Я встретилась с Пришвиным как раз в 40, и это оказалось началом моей новой, осмысленной жизни. Никогда не поздно начинать. Моя старая учительница, когда я к ней приходила с какими-нибудь жалобами на жизнь, говорила: «Бери чистую тетрадку и пиши по-новому»...

Разговор этот происходил в гостиной в Лаврушинском переулке, за большим столом, покрытым еще в давние времена простым дерматином. Собираясь за этим столом, люди, часто незнакомые друг с другом, разные по профессии, по возрасту, становились открытыми и какими-то просветленными, один

другому желанными. В ее присутствии в каждом поднималось самое хорошее, а плохое оседало на дно — ну, просто фокус какой-то она с нами совершала. А сама порой даже не участвовала в разговоре. Прикроет глаза, запрокинет назад голову и будто улетела куда-то мыслями, не слушает. Скучно ей нас слушать? Но вдруг в какую-то минуту спора такое слово вставит, что сразу становится понятно: ничего она не пропустила, правда, все, о чем мы горячимся, ей уже давно известно, но все-таки не скучно, нет, скучать она не умела.

Разговор о том, что жизнь никогда не поздно начинать сначала, я записала сразу же, как пришла домой. Так что приведу сейчас это своеобразное интервью почти в доподлинности.

— Валерия Дмитриевна, очевидно, секрет счастья в том, чтобы найти гармонию между своим «хочу» и «надо»?

— Помните, Пришвин не раз говорил, что вся жизнь в известном смысле «хомут»... «Успейте же выбрать себе хомут по шее и будете свободны так же, как я». Да, каждому человеку нужно найти дело по себе, ношу по себе. И чтоб была она радостной. Знаете пословицу: «Своя ноша не тянет»? Это не в смысле собственничества. «Своя» — потому что соответствует моему призванию, моей любви.

— Но если не повезет человеку с выбором профессии?

— Скажите, мать — это профессия? Дружба — это специальность? Я так часто убеждалась: если человек не стал скептиком и нигилистом, не изменил надежде, то рано или поздно он выйдет на путь. У Пришвина в дневнике есть запись: «Моя неудача — не есть неудача... Это — мое испытание. Удача — это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в глубину».

Кто-то из нас вспомнил другую цитату, из «Незабудок»: «Грибы — это школа вниманья. Доходит до того, что кажется, будто от силы вниманья и рождаются грибы. Вот почему и говорят, что твой гриб от тебя не уйдет».

Это ведь не просто о грибах?

— Это о внимании как творческой силе в любом нашем деле. И, конечно, о терпении. Оно равно необходимо и «невезучему» и счастливому, и в старости и в молодости. Если вам кто-то скажет, что не выдержал, потому что у него не было сил, — не верьте. Человеку дается ровно столько испытаний, сколько он может перенести.

— Но почему так: из мудрых книг, из свидетельств наших современников мы знаем столько важных секретов о жизни, а вот же — не пользуемся...

— Ошибки у каждого — свои. Англичане говорят: «Никто не может попробовать яблоко для вас».

— А все-таки в чем, Валерия Дмитриевна, цель человеческой жизни?

— Цель жизни? — переспросила она. — Да не может ее быть! Смысл жизни и цель жизни, как же они по сути своей друг с другом спорят и несовместимы, хотя на первый взгляд кажется, что это — одно...

Итак, она отметала слово «цель», как неточное, слишком прагматичное. И продолжала:

— Когда мне говорят о ком-то: интересный, яркий, способный — я спрашиваю: а добрый ли это человек? Доброта... Я вот часто думаю: какие прекрасные понятия — красота, счастье... Но почему же каждый толкует их по-своему? От частого повторения, небрежности эти слова истощились, может быть? И только «доброта» проста и понятна всем,

как хлеб. Знаете, высшая наука — быть мудрым, а высшая мудрость — быть добрым...

— Значит, смысл жизни в том, чтобы быть добрым? Чтобы научиться быть добрым?

— Именно в этом главная радость и смысл.

— Но, знаете, Валерия Дмитриевна, многим людям кажется, что призывы «Стань лучше!» приносят только обман и вред. От того, что десять, сто, пусть даже тысяча человек станут самосовершенствоваться, в мире ровным счетом ничего не изменится. Только им, мол, наивным одиночкам, станет труднее жить. «Не честнее ли, — рассуждают они, — призывать людей на борьбу с конкретными недостатками, которых еще так много вокруг, чем агитировать их бороться против какой-то сомнительной душевной лени?»

— Интересно, как эти люди понимают, что значит — человек самосовершенствуется? Что он делает? Сидит в позе роденовского «Мыслителя»? Выдерживает голодную диету — «очищается»? Признаться, все слова, начинающиеся с частицы «само», меня отпугивают. Ведь если кто-то истолкует их в буквальном смысле, получится замкнутый круг, по существу, самоубийство: свое — для себя — совершенство. Теории, как жить, создавались и будут создаваться. Наверно, они хороши как указатели в живом потоке жизни. Если же руководствоваться только ими, то остается почему-то одна сушь. Ну а жизнь движется поступками, каждый раз по новому, по мгновенному зову сердца.

— Мне сейчас вспомнился шутливый рассказ Пришвина «Как я бросил курить». Он списан, как и все рассказы Пришвина, с жизни. Расскажите, пожалуйста, про этот случай.

— Было это еще в тридцатые годы. Михаил Михайлович обидел близкого человека и, огорченный, ушел в лес и там вновь увидел, что жизнь всюду хороша, а у него на душе плохо — он виноват. Как свою вину исправить? Попросить прощения? Дать обещание? Забудется. И вдруг ему пришло в голову: если оторвать от себя тридцатилетнюю привычку курить, этот случай уж никогда не забудешь. Пришел домой и записал в дневнике договор... с самим табаком: «Табак освобождает меня от куренья навсегда». Как ни мучился потом, а слово свое («перед табаком»!) держал. Впрочем, тут, понимаете ли, не в отказе от курения суть...

На минуту задумавшись, будто вспомнила что-то важное и начала как бы с середины:

— Медленно зреют плоды. Но не надо унывать — они зреют. И это общее движение создается в жизни личным усилием всех и каждого из нас, даже и тех, кто, как нам кажется, слепо и сонно живет. А вообще-то, конечно, для человека существует до самого последнего его дня возможность проснуться, начать жить и обрадоваться.

Здесь сразу же хочу процитировать одно неотправленное письмо Михаила Михайловича. Оно было записано в дневник однажды осенью в золотом дунинском лесу (в 1951 году):

«Друг мой! Я один, но я не могу быть один. Как будто не падающие листья шелестят над головой моей, а бежит река живой воды, и необходимо мне дать ее вам. Я хочу сказать, что весь смысл, и радость, и долг мой, и все только в том, чтобы я нашел вас и дал вам пить. Я не могу радоваться один, я ищу вас, я зову вас, я тороплюсь, я боюсь: река жизни

вечной сейчас уйдет к себе в море, и мы останемся опять одни, навсегда разлученные...»

Кому это письмо? Ей, Валерии Дмитриевне? Наверное. Но конечно же не только ей одной: этот зов, этот крик о живой воде («...необходимо мне дать ее вам») обращен к каждому человеку, читателю. В каждом Пришвин готов был встретить «неведомого друга». Он потому только и осмелился стать писателем, что пером, как долотом, без устали пробивал ход к чужой душе. Все его творчество было, по сути, преодолением одиночества, разъединенности людей. Этот веселый охотник был в сущности «охотником за своей собственной душой». Он потому с таким напряжением старался до глубины понять в себе человека, что через это познание мог понять и других, то есть выйти из самозамкнутости «я» к другим людям.

Пришвин говорил о себе, что рожден был без улыбки (фотография «Курымушки», серьезного до грусти мальчика со взглядом, обращенным внутрь себя, это подтверждает). Ему пришлось постепенно наживать улыбку. Он сам сделал себя оптимистом, умеющим радоваться жизни, — ведь только радостный человек может увеличивать добро и свет в мире. В тяжелых предсмертных страданиях делает такую запись в дневнике: «Но я думаю, если это только по силам, сохранить чувство гармонии и преподать его даже в последнем стоне своем как возможность, как поддержку».

До встречи с Валерией Дмитриевной Михаил Михайлович искал гармонию в окружающей природе. После того как они встретились, Пришвин потрясенно убедился, что полная гармония достижима и в сложном, запутанном мире человеческих отношений. Теперь, издали, уже

можно, уже пора сказать, что эта встреча была им обоим заслуженной наградой. За то, что и он, и она умели добывать радость из самого «серого» вещества повседневности, что чувствовали благодарность к жизни за самые скромные ее дары. Встретившись, эти двое не могли, да и не хотели быть счастливыми просто для себя, только для себя. Недаром (помните?) назвала Валерия Дмитриевна свою жизнь с Михаилом Михайловичем «строительством». А Пришвин так открыто, так много писал об их любви, будто хотел своим счастьем всех людей одарить. Да так оно и случилось. Не могло не случиться. «...Неужели напрасно пел соловей в весеннем саду?»

«Любовь нужна людям не меньше, чем хлеб, а о хлебе люди хлопочут откровенно, неутомимо. Значит, можно также и о любви» — это из рукописи Валерии Дмитриевны.

...В Дунино, как и прежде, цветет жасмин, муравьи кропотливо воздвигают свой муравейник, ели охраняют дом и луг. Приезжая сюда, я будто вновь встречаюсь с Валерией Дмитриевной — дунинский «климат» настолько создан ею, сам воздух, кажется, напоен ее радостным удивлением перед жизнью, и не может это так быстро выветриться. Она умерла ровно в восемьдесят, не болея, легко и внезапно, умерла, будто куда-то от нас отлетела. «Не страшна старость, болезни...» Даже смерть ее — странно сказать — выглядела не страшной. Она будто оставила нам завещание: «Да здравствует мир без меня!» Стольких людей успела озарить своим светом, приобщить к ощущению жизни как тайны... Да разве умерла она?

* * *

ПИРОЖКИ С АКЦЕНТОМ

Узнала я Владимира благодаря Валерии Дмитриевне Пришвиной. Он, большой поклонник творчества Михаила Пришвина, писал Валерии Дмитриевне большие исповедальные письма, каких теперь уже и не пишут. Валерия Дмитриевна порой зачитывала из них отрывки, и меня поражала тонкость наблюдений и чувств автора. Например, своё впечатление от пришвинских «Незабудок» Владимир выражал так: «Любую страницу можно положить в лесу на поляну, и она будет сама по себе, естественно жить там, ибо нет грубой границы между записью и природой, нет ошибок ни в сердце писателя, ни в строке». Чтобы так сказать о чужом таланте, думала я, нужно и самому иметь кое-что за душой.

Да, Владимир с ранней юности мечтал о литературе, «много извёл бумаги, и было даже — публиковали». Кажется, Джек Лондон сказал: хочешь интересно писать — научись сначала интересно жить. Так вот Владимир чего только в жизни не испытал! Был грузчиком, кузнецом, матросом, водолазом, кочегаром, был метеорологом на одном эстонском острове и лесником в одной северной деревне.

«...Зная многие профессии изнутри, скажу совершенно твёрдо: ни одна работа по трудности не может сравниться с литературой. Писание — сладкая странная музыка без начала и конца».

Но теперь, как следовало из писем, «с литературными надеждами покончено». Нет, он не утверждал, что в работе

пекаря наконец-то нашел себя, но завораживающе радостная интонация его писем заставляла думать, что какую-то главную истину он для себя открыл.

...Я пришла в их дом как «человек от Валерии Дмитриевны» и уже поэтому стала желанным гостем. Было воскресенье. Владимир стоял в фартуке у плиты — готовил борщ. Ничуть не смутился, но, улыбнувшись открытой, доброжелательной улыбкой, он, большой и сильный, сразу стал похож на ребёнка. Худенькая женщина с красивым смуглым лицом сидела у стола — занималась с дочерью эстонским. «Зина и в математике дочке помогает». Жена у Владимира юрист. И, как сообщил он, «Зина — свой, всё понимающий человек».

За обедом они пристрастно расспрашивали о Пришвине и о Пришвиной — «накопилось сто вопросов». «Когда мне бывает трудно понять своего мужа, — заметила Зина, — я снова открываю «Незабудки». Владимир говорил о своём: «А ведь это не случайность, что именно сейчас пришло время Пришвина? Откроешь газету, журнал — все на него ссылаются, его цитируют... Значит, спохватились мы, что ускоренные ритмы жизни создают дистанцию между людьми и гибнут такие ценности, без которых человек перестает быть человеком?»

Потом Зина пошла укладывать маленького Оливера, оставив на столе гору пухлых конвертов с фотографиями. Жизнь Владимира, так интриговавшая меня, шла теперь перед глазами в документальности запечатлённых мгновений. Вот его суворовское училище, друзья по училищу — они остались на всю жизнь. «Мы вспоминаем своё суворовское, как друзья Пушкина вспоминали Лицей». Вот его кочегарка. «Сколько там пережито счастливых минут! За день перетаскаешь до шести тонн угля — и не устал. Печка горит, уютно, а ты,

давший людям тепло, садишься за стол (да, был в кочегарке стол — письменный) и можешь размышлять о судьбах мира». Вот их деревня Кырчема (одна из тех, что называют на Севере вымирающими). «Всего-то пять домов, но какие люди!» Вернулась Зина: «Посмотрите, это Володя прибивает скворечник. Я на него злилась тогда: у избы крыша худая, а он о птицах думает». Вот памятник на могиле отца Владимира — снимок прислан недавно из Польши: «Мы долго не знали, где погиб отец... искали. Всё казалось: он жив. Ждали, что вдруг придёт, возвратится откуда-то. Теперь не ждём...»

Дальше я что-то спросила, не помню уж что, но он вдруг понял, что корреспондент приехал не просто в гости. Не поверил сначала: «Неужели по мою душу?» Услышав, что действительно хочу писать о нём, искренне огорчился: «Но ведь моя жизнь годится только для отрицательного примера!» Я спорила с ним, а теперь и сама понимаю, как это сложно — оправдать такую «нелогичную», сплошь состоящую из перемен и странствий жизнь. Рассказывая о Владимире, вовсе не собираюсь представить его «героем для подражания», но есть что-то волнующее в его судьбе.

«...Десять лет назад я бросил заочный юридический факультет Тартуского университета, приличную городскую работу и попробовал жить по-своему. Сначала был метеорологом на маленьком эстонском острове, охотился и рыбачил, сидел у костра на берегу, учился наблюдать, разбираться на бумаге в своих мыслях и чувствах. Вроде бы безнадёжно отставал от века, а нутром чувствовал, что это и есть настоящая жизнь.

Потом женился, и мы буквально совершили побег в архангельские леса, где я устроился лесником. В деревне всё начиналось нелегко, но постепенно пошло дело, мы купили

лодку, баню, завели собачку, и люди нас признали. Я писал там целыми ночами под вой метели, но какая-то боль, плюс невежество, плюс неопытность не давали мне писать ясно и прямо из души...»

(Здесь и дальше цитирую письма Владимира к В. Д. Пришвиной, конечно же, с его разрешения.)

«Ох, это такой простодушный человек!» — первое, что я слышала о Владимире от разных людей. Мне, как и всем, он говорил ровно то, что думал, ничего не утаивая. В первый же день рассказал, например, что один друг вынес ему такой приговор: «Если станешь, — говорит, — писателем, тебе за твою жизнь пятёрка, а не станешь — двойка».

С категоричностью такого суждения я не могла согласиться, но осадок остался: неужели Владимир и в самом деле неудачник? Но почему так спокойно сообщает об этом? И почему от всего его облика исходит ощущение надежной и радостной силы?

— Ну а ты сам какую оценку ставишь себе за жизнь? (Мы быстро перешли на «ты» — Владимир относится к числу людей, с которыми этот переход совершается естественно.)

— Конечно, многое, к чему я стремился, не получилось. Хотел всю жизнь прожить на маяке или в деревне, а живу в городе. Хотел писать, а теперь вижу, что сил не хватает — нужно семью кормить, воспитывать детей. Хорошии пекарь, наверное, нужнее плохого писателя?

— Оно так, но что же останется тебе для души?

— Как что? Семья, дети.

Это настроение мелькало и в его письмах:

«...Детишек люблю и отдаю им, собственно, почти по-женски свою жизнь. Но мука моя в том, что почти ежесекундно

думаю и о природе, и о литературе. Душа рвётся к пустынному холодному берегу моря, хочет (и всё тут!) бродить по лесу».

Одно из писем обрывалось так: «Кончаю, Оливер влез в ванну в сандалиях и открыл все краны».

Его отношение к детям казалось мне достойным уважения, но понять, что человек такой романтической судьбы видит теперь смысл жизни в воспитании детей, было недоступно. А он настаивал:

— Осознать себя мне помогли дети. Когда родился Оливер, со мной что-то произошло. Стал второй раз отцом и с нарастающей силой начал переживать отсутствие отца в моём детстве. Это было полусиротство. Мама, учительница, целый день пропадала в школе. А мы с братом одни. В суворовском было хорошо — нам дали там гармоническое воспитание, приобщили к спорту, поэзии, музыке, но всё-таки это была жизнь в отрыве от семьи. И порой так нестерпимо становилось от нерешённых проблем, они росли быстрее, чем я рос. Если бы жив был отец, многое в моей жизни выглядело бы по-другому. Теперь я должен уберечь от ошибок своих детей.

Я не стала ему возражать, говорить, что каждое поколение ошибается заново и уберечь человека от этого практически невозможно. Я понимала, что нельзя отнимать у него эту веру.

— Что же ты понял в себе благодаря детям?

— Уже после того, как родилась Аня, я ещё два года катался по стране «рефом», то есть электромехаником рефрижераторных вагонов. Это командировки по два месяца на Байкал, на Кавказ, на Дальний Восток — и везде. Расчудесная такая жизнь — всю красоту земли можно посмотреть. Наслаждался. А теперь понимаю, что был эгоистом. Детей нельзя воспитывать от случая к случаю.

— Но почему ты не скажешь, что, меняя места и профессии, ты искал самого себя?

— Потому что теперь я знаю, что в поисках себя совсем не обязательно что-то менять и куда-то ехать.

Друг Владимира, социолог, пытался ответить на этот мой вопрос по-научному:

«Да он же искал не себя, а место, где мог бы существовать таким, как он есть, — со своей непосредственностью, со своими наивными вопросами. Люди не всегда всё это принимали, и хоть не в характере Владимира идти на конфликты, ему часто бывало трудно. Но вот что интересно: пусть его жизнь вроде бы не получилась, то есть не оправдал он больших надежд, возлагаемых на него окружающими, но ему никто не сочувствует, более того — завидуют! Штука, наверное, в том, что в отличие от нас, многих, он на любом месте умеет оставаться самим собой».

— И всё-таки объясни, почему ты столько раз начинал сначала. Может быть, надеясь стать писателем, хотел изучить жизнь?

— Что ты? Мне просто не везло. То у самого терпения не хватало, то обстоятельства. Из грузчиков, например, ушёл потому, что призвали в армию. Из кузнецов — после операции аппендицита. Из водолазов опять же отозвали врачи — обострилась язва (из-за неё ещё после суворовского меня забраковали для академии). А не будь язвы, всю жизнь, наверное, работал бы водолазом. То, что я хорошо это делал — знаю точно. Выйдешь, бывало, из воды — дым восторга в груди. И на маяке мог бы прожить всю жизнь. И в деревне... Мы надеялись жить в Кырчеме много лет, но когда родилась Аня, родствен-

ники уговорили вернуться в Таллин. Уехать из деревни для меня было горем.

— Ты говоришь так, будто не было в твоей жизни какой-то цели, а были только причины и обстоятельства, которым ты подчинялся.

— Цель жизни? Но разве можно с определенностью говорить о цели своей жизни? «Хочу стать юристом!» — это что, по-твоему, цель жизни? Ну, тогда она у меня была. Два с половиной года. Потом я её потерял.

Уже в Москве, встретившись с одной мудрой пожилой женщиной, матерью его погибшего друга-суворовца (в жизни этой женщины Владимир, оказывается, играет большую роль: «Он как сын мне»), я услышала такой ответ на мой вопрос о «цели»: «Володя сердцем живёт, а не разумом! Конечно, он много разбрасывался. Иногда и сам не знал, что ищет. Но всё время искал. Чистоту и правду человеческих отношений, наверное... Такими их выпустили из суворовского — идеалистами. А Володя к тому же по природе незащищённый — в каждом человеке хотел видеть только хорошее, каждому спешил сделать что-то доброе... Никого, кроме себя, никогда не осудит. Весь как на ладони. Хорошо это? Конечно. А с другой стороны, житейская беда. Потому и спотыкался столько, разочаровывался. Но ведь поднимался же снова! И видите, какой замечательный вышел отец. И булочки свои печёт отлично... Я уверена, что каждой вкусной булочке он радуется. По естеству сердечному...»

Как-то в одной московской школе мне довелось проводить диспут: «Знаешь ли ты себя?» Среди прочих был вопрос: в чём цель твоей жизни? Один парень ответил: «Моя цель — стать человеком!» Как же на него все ополчились! Звучит, мол,

слишком общо, а цель должна быть конкретной, иначе её невозможно достичь. И получалось, по мнению ребят, что «поступить в институт», «стать экономистом», «объездить мир» (довольно типичные ответы) — цель жизни, а «стать человеком» не цель. Кто-то, помню, искренне возмутился: «Что значит стать? А сейчас я не человек, что ли?»

Такое вот непонимание. Но — то школьники, а уж я-то давно, конечно, понимаю, что если говорить о цели жизни, то только о такой: быть человеком! Конечно, главное — каким быть, а не кем быть. Кто здесь станет спорить? Но это пока идёт теоретический разговор, а стоит перевести его в конкретную жизнь, и первое, что мы спрашиваем о незнакомом: кто он? — имея в виду профессию, должность. Механически, конечно, спрашиваем, будто визитную карточку смотрим. И вот встретился мне человек, которому искренне безразлично, кем быть, который в силу необычного своего внутреннего устройства умеет в каждом деле найти интерес и вложить в него душу («работал в порту грузчиком, и доски, представь, таскал с таким же вдохновением, с каким по вечерам агитировал ребят идти в клуб подводников — мы тогда приличный клуб в городе организовали»), такому бы человеку обрадоваться, а я, теряясь, недоумевала:

— Неужели тебе никогда не хотелось иметь положение в обществе, которое обеспечивается — увы! — твёрдой профессией, дипломом?

— Иногда зажужжит в затылке: а хорошо бы... Потом опомнишься: а зачем мне «положение»? На свете столько прекрасных профессий, и какая разница, как они называются! Это сначала коробило: я копаю на улице яму, а мимо идут знакомые и снисходительно сверху вниз смотрят... Ерунда всё

это! Я встречал столько талантливейших самородков в самых, казалось бы, неподходящих местах, что теперь никогда не смогу равнодушно скользнуть по человеку взглядом и детей своих постараюсь этому научить.

Когда он это говорил, мы шли по Ратушной площади. Неповторимый город Таллин, только что проснувшись, обнаружил себя утопающим в вязких мокрых сугробах, идти по которым — что тесто ногами месить. На улицы высыпали дворники, и хоть их борьба со снегом казалась почти безуспешной, было в ней что-то успокаивающее, заботливое. Когда осознаешь, что и сто и пятьсот лет назад на этих улицах вот так же трудились люди с метлой, так же, как мы, шел народ и, может быть, о чём-то похожем говорил, почему-то уверенней ступаешь по земле.

Владимир продолжал:

— А отец мой был геолог. Уже в двадцать лет руководил большой изыскательской партией. Мы с братом недавно повесть о нем нашли. В журнале «Урал», называется «Легко обуты ноги». Как я понимаю, отец был Человек! Прошлым летом мы с матерью ездили в Кировск. Там, на самом большом в мире руднике (плато Росвумчорр), до сих пор его помнят. Там я по-новому увидел свою мать, она ходила с гордо поднятой головой.

— Пришла пора спросить: как ты стал пекарем?

— Можно сказать, несчастье помогло. Собрались мы было на маяк — мечтали воспитывать детей в живой связи с природой. Уже на чемоданах сидели, и вдруг отказ. Наверно, смутила кого-то моя пёстрая биография. И тут Зина в той же газете, где было объявление о маяке, нашла: «Требуются пекари». И говорит: «Что ж, мы всегда были семьёй неожиданных решений».

— И не жалеешь?

— Правду ведь говорят: ничего нет бесспорнее хлеба... А когда шёл первый раз в пекарню, ноги подгибались. И вдруг там от своей напарницы услышал: «Всю жизнь мечтала быть пекарем». Не поверил сначала, потом своими глазами убедился, как свободно она чувствует себя в деле, работает прямо как художник. Обрадовался очень: бывают же у людей такие красивые, ровные жизненные планы.

Из письма:

«...Простите, Валерия Дмитриевна, что снова пишу Вам. Говорить с Вами для меня редкая счастливая возможность. Работа пекаря тяжёлая, ураганный темп. Прихожу домой — синие круги под глазами. Но я странно окреп духом на этой работе. Лучше узнал себя и людей».

Однажды он со вздохом сказал:

— Стыдно, конечно, что в середине жизни я будто с луны свалился — начинаю понимать самые простые вещи. А ещё недавно обычная жизнь для меня была больше тайга, чем сама тайга.

— Сейчас все толкуют о возвращении к простым вещам, но мало кто знает, что это такое.

— Я уже объяснял: для меня это семья, дети. Глубокую жизнь можно прожить и в своём доме.

— Прости, но есть в этом что-то обывательское!

Владимир усмехнулся, достал с полки одну из больших «амбарных книг», в которых — я уже знала — записаны от руки неразборчивым почерком все его рассказы, и прочёл:

— «Я обыватель! Я бытую и понимаю своё бытие как культуру личных отношений к людям и вещам. Непременно к вещам, потому что человек, считающий грехом сорить на полу

и топтать ногами частицы солнечной энергии, заключённые в крошках хлеба, несомненно, и к людям относится лучше, чем сорящий на пол, небрежный...»

— Неужели твоё?

— Ну что ты! Пришвин. А, правда, почему мы ругаемся словом «обыватель»? Если человек живёт обычную жизнь, честно делает своё дело и хорошо воспитывает детей, разве он не выполняет этим долг перед обществом? Знаешь, в эстонском языке есть хорошее выражение: образованное сердце. Вот, что прежде всего я хочу воспитать в своих детях!

Из письма:

«...И пусть в моей жизни было много ударов судьбы, зато теперь я кожей чувствую разницу между живым и мёртвым. Я точно знаю, что механические поступки приводят к смерти духовной, а живое — то, что идёт от сердца. Всё, что я пережил, осталось со мной. И теперь могу руками делать свои булочки, а мыслями уноситься на свой остров, где море между домами и летают чайки».

Последний вечер я снова провела в их доме. Владимир работал в ночную смену, но у Зины собралось сразу пятеро его друзей (перечислю их — что поделать? — по профессиям: социолог, бармен, водолаз, физик и преподаватель института). Я, конечно же, сказала им, что не могу понять Владимира. Неужели он и, правда, решил стать обывателем? Они тоже сначала поспорили, что же такое «обыватель», потом пришли к единодушному мнению: Володя как был, так и остался романтиком. Но если раньше хотел осчастливить всё человечество, то теперь сосредоточил свои усилия на самом близком — на детях. Отдаёт им все силы и весь свой талант. Рассказали мне про надувную лодку,

которую он пустил в лужу под окнами и катал всех дворовых ребятишек. Про куст подснежников, который выкопал в лесу среди зимы, потому что Аниному классу нужно было наглядное пособие по ботанике. Про его сказки (каждый день новые), без которых уже не может жить Оливер.

Потом заговорили про деревню Кырчему. Я с удивлением узнала, что там перебывали чуть не все его друзья и что эта деревня до сих пор не исчезла из его жизни — только туда ездит семья в отпуск, а Владимир иногда в праздники улетает туда один. Так тоскует по деревне? «Ещё бы!» — почти возмутилась Зина.

Когда ехали они первый раз, муж говорил ей: «И вот посмотришь, как нам люди обрадуются. Пойдём по дороге, а у обочины крынка с молоком стоит — для нас...» Ничего этого не было. Деревня встретила Владимира с опаской: что за странный человек приехал — не пьёт, не курит, может быть, баптист? Потом он начал наводить порядок на своём участке (дела в лесничестве были давно запущены), стал писать в область насчёт электричества (оно давно было подведено, но подключить всё руки не доходили). Развели они с Зиной огород. В деревне раньше сажали одну картошку, а тут выросли и морковь, и свекла, и укроп, и даже ревень. Огурцов было столько, что они тазами всей деревне раздавали.

По вечерам в их избе собиралась чуть не вся округа. Тут было и чтение вслух, и душевные разговоры. Он даже придумал «Лесную газету» выпускать. Деревенские мальчишки ходили за ним по пятам. Один из них — Серёжка — вот что однажды написал. Порывшись, Зина достала школьную тетрадь. На обложке значилось:

«Сочинение моих мыслей». И были там слова: «Когда Владимир в нашу деревню приехал, начался коммунизм». Так вот...

Не знаю, станет ли когда-нибудь Владимир писателем (вопрос этот не кажется мне столь существенным, как раньше), но закончить хочу словами его рассказа, который нашла в одном из старых номеров «Юности»:

«...Надо только остановиться и посмотреть внимательно. Я чувствовал это давно и не заметил, как моя старая мечта о подводной лодке капитана Немо сменилась на мечту о воздушном шаре, чтоб лететь и смотреть, а потом приземлиться и поставить дом».

Так вот, можно ли назвать его неудачником?

P.S. ***После распада Союза, когда многие русские покидали Эстонию, семья Владимира тоже решила эмигрировать. Они уехали в Америку, поселились в небольшом городке штата Сиэтль, открыли там семейную пекарню. Владимир писал, что их штрудели пользуются популярностью у местных. Года через три признался, что его снова потянуло к чистому листу. А вскоре прислал небольшую книжку своих юморесок. Зина сообщила по телефону радостную новость: книга Володи отмечена премией в конкурсе иноязычных изданий. Называется она «Пирожки с акцентом».***

* * *

КОЛЛЕКЦИОНЕР ПОДВИГОВ

«Отчего, — спрашиваете вы, — занялся я этим делом, весьма хлопотным для частного лица? Вероятно, по свойствам души» — таким величаво-неторопливым слогом отвечал Виктор Иванович на мои вопросы. Его письма и само его «хлопотное дело» буквально чаровали меня. Особо нравилось, что проживает Виктор Иванович Киселев-Гусев в городе Ленинграде, именно в Ленинграде, и что дом его находится неподалеку от площади Мужества. Там, у станции метро с одноимённым названием «Площадь Мужества», мы и встретились. По предварительной договоренности он стоял у газетного киоска. Невысокий, подтянутый, в тёмном плаще и фетровой шляпе, несмотря на лето. Люди спешили по своим делам, никто не обращал на него внимания — ну старик как старик. А мне хотелось остановить и познакомить с этим стариком каждого прохожего.

Послушайте:

«...Много лет, точнее — семнадцать, собираю я материалы о подвигах — делаю вырезки из центральных и ленинградских газет. Не всякий подвиг меня интересует, а тот именно, когда человек, рискуя своим здоровьем и даже жизнью, спасает другого, часто незнакомого. В этом я вижу высшее проявление красоты человеческой.

За годы уже накопилось 313 случаев спасения. Это минимум 626 судеб спасённых и спасителей. И теперь меня

волнует, как сложились в дальнейшем отношения этих людей. Как спасённые расходуют свои «вторые» жизни? Не забыты ли ими те, кто бросился в огонь, в воду, под колёса, в пропасть, чтобы выручить их из беды? Не полезно ли и всем нам почаще вспоминать об этих Александрах Матросовых мирных дней?

Такие вопросы-цели поставил я перед собой, когда два года назад вышел на пенсию и начал писать в разные концы страны, пытаясь разыскать тех, кто значится в моей картотеке...»

Итак, в одно прекрасное утро (или, может быть, вечер) этот, мало сказать, скромный, скорей стеснительный человек взял бумагу, ручку и начал: «Здравствуйте! Беспокою Вас из Ленинграда...» Чтобы его просьба сообщить адреса выглядела убедительней, чтобы не отмахнулся какой-нибудь чинуша: ну, мол, назойливый пенсионер, что ему неймется, — счёл Виктор Иванович необходимым подписывать в конце каждого письма такой свой титул: «член КПСС с 1919 года».

Ему отвечали. Но было и не отвечали. Он не обижался, через некоторое время напоминал о себе вновь. Он был упрям, педантичен и изобретателен. Если ему отказывали («Справки такого рода выдаются только учреждениям...»), он искал других путей, других, неформальных, людей и цели своей всё-таки добивался. За два года Киселев-Гусев разыскал больше половины спасённых и спасителей.

А что дальше? — может подумать читатель. А зачем? Кто-то выращивает голубые георгины, кто-то собирает редкие автографы, сломанные будильники, да мало ли кто чем занимается на досуге. А этот ленинградец

коллекционирует, значит, материалы о подвигах? Благородное, конечно, хобби. Но всё-таки зачем? Беспокоить организации, будоражить людей... Чтобы удовлетворить своё любопытство? Но не тщетны ли эти попытки «исправить» письмами жизнь?

Каюсь, моё знакомство с «хлопотным делом» тоже начиналось с сомнений. Ещё в Москве, ещё до встречи с Виктором Ивановичем разбиралась я по его просьбе с одной историей. Произошла она лет десять назад под Волгоградом. «Если мы прилетим — эти двое будут жить, если не прилетим — они умрут», — сказал врач лётчику. Все аэродромы области были в тот день закрыты. Пришлось нарушить запрет. Летели в белом, как молоко, тумане, ориентируясь по телеграфным столбам. Посадочной площадки в посёлке не было, при посадке сломали шасси, могли, конечно, погибнуть сами... Остались живы. И все медицинские аппараты доставили в целости. Всю ночь жители поселка стояли у конторы. Разошлись после того, когда прилетевший врач вышел и сообщил, что двоих пострадавших солдат удалось привести в сознание.

Эту драматическую историю Виктор Иванович узнал из газеты. Давно. А теперь вот решил разыскать её участников: помнят ли они друг друга? Довольно легко нашёл лётчика, врача, фельдшерицу, вступил с ними в переписку. Лётчик, оказалось, ещё в войну летал в санитарной авиации, совершал чудеса храбрости, вывозя раненых с передовой.

«Необходимо написать об этом человеке!» — просил Виктор Иванович в своём первом письме в редакцию, из которого мы, собственно, и узнали, что есть на свете

такой человек с чуть смешной фамилией Киселев-Гусев. Но почему он, живущий в Ленинграде, взволновался судьбой волгоградского лётчика, которого никогда в глаза не видел, мы сначала понять не могли. Уже позже, отвечая на вопросы, Виктор Иванович объяснил суть своего «хлопотного дела».

Так вот, дальше мы уже были свидетелями, как трудно давался ему поиск тех двух спасённых — Ивана и Юрия. Двадцать девять писем рассылал, пока наконец не узнал их адреса. Мы радовались вместе с ним, но...

Иван — он живёт на Украине — уже полгода не отвечает Виктору Ивановичу, а Юрий прислал из Москвы короткий формальный ответ. Когда же Виктор Иванович со свойственной ему прямотой посоветовал Юрию восстановить прерванные связи со своими спасителями, от матери Юрия пришла такая вот отповедь:

«Вы мне придали большую заботу своим письмом. Видно, сами живёте в достатке и думаете, что другим тоже ничего не стоит принять гостей. А у нас с сыном маленький бюджет. Я получаю пенсию 50 р., а Юрий холостой, у него большие вычеты. Как мать, я благодарна, конечно, за спасение моего сына, но ведь он не виноват, что с ним случилось несчастье. В войну вон тысячи людей спасали друг друга... Ну а мы, что же, теперь всю жизнь должны быть перед кем-то в долгу? Извините за укор, но пишу всё откровенно и хочу попросить: оставьте нас в покое».

После этого письма Виктор Иванович даже позвонил нам из Ленинграда (вообще-то телефона он не признаёт — «суррогат общения») и просил скорее встретиться с Юрием. Неужели парень согласен с матерью, неужели

тоже не понимает, что спасителям ничего, ничего от него не нужно?

И вот ходила я на большой московский завод, где Юрий работает слесарем, потом была у него дома. Запомнились два выпуклых аквариума в одной из комнат, они светились в сумерках, как два циклопьих глаза. Юрий присаживался на корточки, ласково гладил ладонью по стеклу: «Хорошие...» Он очень любит своих рыбок.

«Есть такие люди, живут по принципу: вы меня не троньте, и я вас не трону», — вздыхали о нём на заводе. Сам же Юрий был невозмутим, слегка пожурил мать — «погорячилась» с письмом, но, по сути, она права: зачем приглашать в гости людей, с которыми ему и говорить не о чем, он даже лиц их не помнит — был тогда без сознания.

Здесь так легко сыронизировать: он до сих пор... без сознания, он, как и его рыбки, находится в каком-то аквариуме и через стеклянную перегородку людей не видит и не слышит. Но что ж поделать с его неблагодарностью?

Виктор Иванович негодует: хоть бы письмо в Волгоград написал. А Юрий не хочет. Ему, оказывается «унизительно вспоминать себя в роли жертвы». Вот какой нюанс. Что ж, в своё время один желчный писатель заметил: нет чувства труднее благодарности. Благо-дарность. То есть дар. А если у человека его нет?

Ах, Виктор Иванович, дорогой Виктор Иванович, чего мы хотим от этого Юрия? Кому станет теплее от его писем?

Цвели каштаны у Инженерного замка, по Неве и каналам сновали катера с туристами, в городе даже днём чувствовалось праздничное присутствие белых ночей. Но для меня самым

привлекательным местом Ленинграда стала на этот раз однокомнатная квартира на окраине (от площади Мужества надо проехать ещё на трамвае). На окнах и даже на стенах комнаты растут-вьются различные диковинные растения (предмет забот Антонины Кирилловны, супруги Виктора Ивановича), за ширмой стоит железная кровать с никелированными спинками — такую по нынешним временам редко у кого встретишь, на открытой балконной двери мирно плещется марлевая занавеска. В этой квартире с патриархальным уютом, не располагающим ни к тревогам, ни к волнениям, воздух насыщен, однако, озоном подвига. Я провела здесь три волнующих дня. И о той московской встрече, вызвавшей у меня сомнение в нужности его хлопот, на время забыла.

— ...Вы, наверное, знаете о Воропаеве. Как, вы не слышали о Воропаеве? Он, инженер, вёл экскурсию школьников по своему заводу «Азовсталь». Вдруг на участке резки горячего проката кто-то неосторожно включил пилу. Пучок искр, несущих в себе мельчайшие кусочки металла, хлынул навстречу школьникам. Воропаев закрыл собой ребят. Сам лицом к огню... Искра ранила его в левый глаз. Правого глаза у Воропаева давно не было. Так и остался на всю жизнь слепым, но спас детей.

Из Жданова, с «Азовсталь», Виктору Ивановичу сообщают: Воропаев защитил за эти годы кандидатскую диссертацию, его постоянно поддерживают друзья, в коллективе до сих пор «поступок т. Воропаева В. А. рассматривается как непринуждённое проявление чувств отцовского и гражданского долга».

«Непринужденное проявление чувств...» — перечитываю необычный текст на стандартном заводском бланке,

а Виктор Иванович уже рассказывает о Михаиле Альперине. Этот замечательный человек, герой гражданской войны, погиб не на фронте. Когда в 1952 году на дальневосточный остров Парамушир обрушился цунами, Альперин, бывший там управляющим рыбтреста, эвакуировал людей. В последнюю минуту при виде страшной накатывающейся волны он бросился на крик уборщицы треста тёти Маши, спас её ребенка и саму тетю Машу...

И вот уже целая галерея подвигов встаёт перед глазами, врывается в душу, и будто видишь въявь ту неуловимую, ту главную тайну, которая заключена в Человеке. При виде этой тайны беспомощными и жалкими кажутся все новомодные концепции, которые то уравнивают человека с животным, то пытаются заменить человека мыслящей машиной.

«Поведение живых существ движимо некоторыми основными побуждениями, и одно из этих основных побуждений — эгоистическое стремление к самосохранению. От простейших микроорганизмов до человека — все живые существа, должны прежде всего защищать себя, свою жизнь, свои интересы» — это говорит канадский физиолог Ганс Селье. Автор знаменитой теории стресса, он пытался создать новый кодекс нравственности, основанный только на биологических законах. Профессор призывает к трезвости. Стоит ли убеждать человека, чтобы он любил другого как самого себя? Этот лозунг прекрасен, но неосуществим, считает профессор. «Нравственно то, что биологически полезно...»

Но если сотни людей (да разве полная у Виктора Ивановича статистика?) поступают в критической ситуации вопреки

соображениям «пользы», теряя инстинкт самосохранения, может быть, в человеке, только в человеке существует и некий противоположный «инстинкт»? Импульс самопожертвования, что ли?

Виктора Ивановича часто спрашивают в письмах: «Наверно, вы сами рисковали жизнью, спасая кого-то?» Поначалу мне тоже хотелось найти в его биографии какой-то героический эпизод, чтобы выяснить побудительный мотив его поиска. Но, почти извиняясь, он отвечает: «Подвигов в своей жизни не совершал». Подвигов не совершал, если не считать, что был участником двух войн — на гражданскую ушёл в семнадцать лет добровольцем и в сорок первом — тоже добровольцем... Потом был отозван на завод, где работал всю блокаду. Пережил блокаду.

Нет, не удалось мне выпытать у Виктора Ивановича какой-то эпизод (яркий!), зато видела я — в ящике письменного стола, случайно — серый замусоленный мешочек, шитый чёрными нитками. Пятнадцать сантиметров на двадцать, не больше ладони — это мешочек для блокадного пайка ленинградца Киселева-Гусева. А потом жена его старого друга, погибшего на фронте, рассказала мне, как Виктор Иванович откладывал от своего пайка (умещавшегося в этом мешочке!) по кусочку хлеба и сахара. Каждый день, превозмогая собственный голод, откладывал, чтобы в воскресенье угостить чаем эту женщину и её дочь — они в любую погоду шли к нему с другого конца города... Спасал он их или не спасал?

Но только ли потому, что пережил когда-то блокаду? Мало ли ленинградцев пережили блокаду... Не было, получается,

у Киселева-Гусева в его деле сугубо личного мотива? Пусть так. Но тема, владеющая его душой, становится ещё бескорыстнее оттого, что к фактам его биографии прямого отношения не имеет.

Начиная «хлопотное дело», он не сомневался в своих силах, не раздумывал, возможна или невозможна победа над неблагодарностью. Просто хотел сам как мог отблагодарить спасителей. И пусть его папка «Иваны Непомнящие» не так уж тонка, но ведь хороших, добрых людей на свете больше!

Прочтите письмо из колхоза «Аврора» на Псковщине:

«...И огромное спасибо от меня, Дроздовой Анны Тимофеевны, от моих детей «второй жизни» Лени и Дуси, что позаботились Вы вспомнить о нашем спасителе Иване Панфиловиче Касьянове. Прошли годы, а Панфилыч для нашей семьи самый радостный человек. Не было бы на свете нас троих, если бы не Панфилыч. Ему было в ту пору восемнадцать лет. Дусеньку он вытащил из полыньи почти мёртвую и заставил жить, потом долго нырял за Леней.

В нашей деревне о Панфилыче носятся только хорошие вести. Он бригадир комплексной бригады, кончает заочно институт. А раньше был шофёром. Когда мой Леня решил тоже выучиться на шофёра, Панфилыч был ему наставник и даже предоставил свою машину. Не только нам, но и другим людям Панфилыч люб и дорог. Придут к нему с бедой, уйдут с радостью. Если хотите больше знать о нашем Панфилыче, приезжайте, будьте добры. Дорогу оплатим и встретим в городе на вокзале».

С гордостью показывал мне Виктор Иванович фотографию: девушка в белой фате, юноша с бабочкой

и рядом с ними какой-то грузноватый мужчина, на которого эти двое смотрят с обожанием: «Посаженый отец Панфилыч поздравляет спасенную им Дусю и её жениха в день свадьбы». Виктора Ивановича на эту свадьбу тоже приглашали. Он поехать не сумел, но подарок послал.

Ах, сколько у него в коллекции (в памяти, в сердце!) прекрасных человеческих историй. Одну из них хочу рассказать сжатым языком документов. Итак, спасённая и её спаситель не виделись много лет. Виктор Иванович своими письмами подтолкнул их встретиться. И вот письмо от Юлии Ч.:

«Сегодня, 17 марта, исполнилось семнадцать лет со дня моего второго рождения. Сегодня я приехала в Смоленск и сумела перебороть ложный страх, мучивший меня так долго. Мы виделись с Николаем! Мы говорили! Теперь стало так хорошо и легко. О, как я благодарна Вам, Виктор Иванович, что Вы помогли мне решиться...»

Из письма Виктора Ивановича в комитет комсомола Смоленского железнодорожного узла:

«Будь я секретарём вашего комитета, обязательно вывесил бы на видном месте портрет бывшего сцепщика станции Смоленск-Сортировочная, комсомольца, а ныне коммуниста Николая Андреева. Пусть молодёжь видит в нём не только заведующего кладовой, а героя, медленно передвигающегося сейчас потому, что однажды он спешил как только мог быстро, чтобы спасти жизнь совсем незнакомой, чужой женщины».

Из ответа:

«Ваше письмо глубоко взволновало наших комсомольцев (оно было зачитано на заседании комитета). Стало стыдно и обидно за себя...»

Выразить благодарность никогда не поздно, считает Виктор Иванович. Он рад и счастлив, что Юлия и Николай снова нашли друг друга.

Рассказав о Николае Андрееве, как не вспомнить о другом Николае — Козорезе? Подвиги их поразительно схожи. Снова мчится поезд, снова на рельсах женская фигура, снова смелый юноша... Он спас её, но пострадал сам. Николай Козорез служил на Тихоокеанском флоте, он мечтал стать морским офицером, тогда он как раз сдавал экзамены в военно-морское училище, успел получить три пятерки... Где Козорез? Что с ним сейчас?

Одновременно Виктор Иванович ищет ту, которую Николай спас. Она-то должна что-то знать о судьбе Козореза. Очень нужен ему Козорез!

Сколько же людей зажёг он своим поиском! Вот и я становлюсь болельщиком. То ходила по Ленинграду, бормоча привязавшееся из «Гамлета»: «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?», а теперь вдруг чувствую: и мне тоже этот Козорез нужен! Отзовись, Козорез! Марфенков, Романов, Желнина, Гольдбергас, Мельниченко... Спасители! Когда знаешь: по одной с тобой земле ходят, одним с тобой воздухом дышат такие люди, надёжней становится жить.

Когда-то читала: в одном большом городе (кажется, американском), на берегу океана жил одинокий старик. Как и всех пожилых людей, его томила жажда общения, но поговорить ему было не с кем. И вот каждое утро выходил к океану... беседовать с волнами. Стоял с восхода до заката. Стал живой реликвией города. На него приезжали смотреть

туристы, его фотографировали, но одиночества у него не убавилось.

Виктор Иванович тоже вступил в диалог... с океаном людей. И хоть никогда не был одинок — есть у него дети и внуки есть, но теперь-то сотни людей поздравляют его с праздниками, справляются о здоровье, приглашают в гости, сами приезжают в Ленинград.

Благодаря хлопотам Киселева-Гусева Николай Андреев ездил на курорт. Благодаря его письмам Е. Н. Лесиковой из Башкирии (эта женщина, бросившись в ледяную воду, спасла шестерых детей и долго потом болела) дали новую квартиру. Водитель аэросаней из Комсомольска-на-Амуре И. В. Чикишев, совершивший смелый поступок двенадцать лет назад, после ходатайств Виктора Ивановича награждён повторно — перед всем коллективом завода ему вручили настенные часы.

Далеко не полный список добрых дел Киселева-Гусева («частного лица»!) звучит, конечно, всем нам укором. Да разве в «материальном поощрении» суть? Подвиг возможно оплатить только памятью. Думать о подвиге. Чтить подвиг. Не им, спасённым, а прежде всего нам это нужно. «Думай хорошо, — учил Л. Н. Толстой, — и мысли созреют в добрые поступки».

При мне Виктор Иванович вынул из почтового ящика удручающее письмо:

«За истёкшие годы водителями нашего парка совершено очень много благородных поступков, поэтому случай с Л. Г. теперь уже не считается таким выдающимся по своему значению и не популяризируется», — ответил на запрос Киселева-Гусева председатель месткома одного автопарка.

А ведь вот о каком подвиге шофёра Л. Г. напоминал Киселев-Гусев. ...В гололедицу на крутом подъёме забуксовал автобус. Тяжёлый, полный людьми, он стал сползать к обрыву. Тормоза не подчинялись шофёру. И тогда шофёр выскочил из машины, лёг на землю, подставив под колесо... своё плечо. Чудо: он остался жив. Он и сейчас работает ночным гонщиком в автопарке.

Чтобы оправиться от негодования, вызванного этим ответом, Виктор Иванович предложил пройтись пешком на Чёрную речку. Там, на месте дуэли Пушкина, я никогда не бывала. Заодно Виктор Иванович хотел показать поблизости так называемый Комендантский аэродром, где 14 сентября 41-го года ему, добровольцу, вручили винтовку. По пути мы говорили о Пушкине, о блокаде и, конечно, о подвиге.

— Помните, — размышлял Виктор Иванович, — Николай Андреев, лишившийся обеих ног, пишет: «Я ни о чём не жалею. Просто поступил так, как подсказало сердце». Подвиги совершаются из потребности души.

— Но что есть душа, Виктор Иванович?

— Душа? Я не раз думал... Вероятно, душа — это то «пространство» внутри человека, которое занято другими людьми.

— Считается, Виктор Иванович, что к подвигу подготовиться нельзя...

— А по-моему, можно. Просто нужно каждый день делать кому-то доброе или хотя бы приятное.

— Но подвиг — вспышка. Человек забывает о себе. А вот каждый день жить, забывая о себе, думая только о других, страдая за других — возможно ли?

— Да, трудно. Но знаете, что учёные говорят про смерть? Смерть — нарушение связей с окружающей средой. Тогда что же такое настоящая жизнь? Она есть развитие, усиление связей, душевных контактов с людьми. Иначе не жизнь это, а существование. Как у роботов. «Но не хочу, о други, умирать; я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» Это Пушкин сказал.

Тут мы как раз пришли на Чёрную речку. У памятника Пушкину лежали венки цветов и стояли, взявшись за руки, дети, приведённые воспитательницей детского сада. В разговор о душе, доброте и подвиге эта картина естественно вплеталась. И в который раз я подумала: как тонка, но вместе с тем как неразрывно прочна материя нашей жизни, в ней случайности переплетаются в закономерности, и связано всё со всем.

Наш разговор с Виктором Ивановичем был долгим, да, по сути, он идёт до сих пор. Из Ленинграда регулярно получаю конверты, подписанные аккуратным знакомым почерком: Виктор Иванович считает долгом посвящать меня в ход своих поисков, сообщая всё о новых прекрасных людях и подвигах. Идут годы, сил у Виктора Ивановича не прибавляется (впрочем, о себе, о здоровье, он никогда ни словом не обмолвится), а хлопотное его дело движется с первоначальной тщательностью и страстью. Каюсь, не всегда вовремя отвечаю на его просьбы. Но он выше обид. Он, конечно же, из породы несгибаемых, верных Дон-Кихотов, которых не смущает, а только вдохновляет одиночество в начатой борьбе.

Необходимое пояснение о доминанте Ухтомского

(Из неопубликованного)

К сожалению, мало кто знает об Алексее Алексеевиче Ухтомском. Нет, это не тот революционер, в честь которого названы заводы и улицы. Именем академика Ухтомского назван лишь один научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге. А. А. Ухтомский — выдающийся физиолог, психолог, философ, художник...

Его теория о «доминанте» человеческого поведения имеет прямое отношение к главной теме этой книги. Название книги «ПУТЬ К СЕБЕ — ЭТО ПУТЬ К ДРУГИМ» подсказано Ухтомским. Сам он выражает эту мысль с научной точностью:

«Только переключивши себя и свою деятельность на других, человек впервые находит самого себя как лицо».

Ухтомский пришёл в науку сложным путём исканий. Происходил он из старинного княжеского рода и по семейной традиции начал своё образование в кадетском корпусе. Но военная карьера была чужда ему. По окончании корпуса Ухтомский неожиданно для окружающих поступает в Московскую духовную академию, там всё отчётливей формировался его интерес к изучению мотивов человеческого поведения, которому он хотелт найти физиологическое обоснование. Закончив академию, Ухтомский решается в третий раз начать всё сначала — стать студентом естественного факультета Петербургского университета.

Это оказалось не так просто — человеку, получившему духовное образование, это запрещалось. Ухтомскому пришлось просить у царя «Высочайшего соизволения», год ждал ответа. И наконец в 1899 году снова стал студентом. С этих пор вся его жизнь была связана с Петербургским (Ленинградским) университетом.

Явление «доминанты» он открыл в 1904 году. Ухтомского считают счастливым учёным из разряда Ньютона, а его открытие — неповторимым и революционным в области исследования центральной нервной системы.

Толчком к открытию доминанты стал факт случайный, но куда более прозаический, чем яблоко, якобы упавшее на голову НЬЮтона. Студент Ухтомский готовил демонстрационный опыт на собаке для своего профессора и вдруг заметил странную вещь: в момент, предшествующий акту дефекации, собака не реагирует на электрический импульс, не отдергивает, как обычно, лапу, а вместо этого у нее происходит ускорение и усиление дефекации.

Заинтересовавшись этой странностью, Ухтомский стал проводить уже целенаправленные опыты на других животных и видел всё то же. Если проголодавшейся кошке дать пищу и одновременно подключить раздражители к двигательным центрам её мозга, она на эти раздражители не обратит никакого внимания, зато у неё усилятся глотательные движения. То есть животное в один определённый момент способно совершать одно главное «волнующее» его действие. Это явление Ухтомский назвал доминантой (от латинского «dominalis» — «господствующий»).

Эта физиологическая закономерность, как обнаружил впоследствии Ухтомский, имеет прямую параллель и в психической деятельности человека. Да, наше поведение подчиняется тому же «принципу доминанты». Отдаём мы себе в этом отчёт или нет, но каждый наш поступок бывает продиктован какой-то из доминант, которая в данный момент «выскакивает» вперёд и определяет поведение.

Доминанта в психологическом значении — это нравственная привычка, сложившаяся исподволь в течение всей предыдущей жизни, которая в какой-то решительный момент проявляет себя властно, подобно физиологической потребности.

Раньше считалось, что человек смотрит на мир «фотографически», то есть воспринимает реальность такой, какая она есть сама по себе. Нет, утверждает Ухтомский, человек воспринимает мир сквозь призму своих доминант. Не как объективный фотограф, а как весьма субъективный художник. Художник же, к примеру, может увидеть обыкновенную лошадь не только зеленой, но и вообще не увидеть ни одной лошади на лугу, где пасётся целое стадо. Всё зависит от того, как устроен, на что настроен аппарат его внутреннего зрения. Избирательность взгляда, а следовательно, и мысли, и чувства, и действия определяется доминантой.

В каждый момент нашей жизни нами владеет какая-то из доминант. Нет человека без доминанты. Доминантой может стать работа, любовь, карьера, семья, творчество... Даже у лентяя есть своя доминанта — бездействие.

«Мы можем воспринимать лишь то и тех, к чему и к кому подготовлены наши доминанты, т. е. наше поведение.

Бесценные вещи и бесценные области бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть, то есть если наша деятельность и поведение направлены сейчас в другие стороны».

Но Ухтомский не видел в этом ничего фатального. Потому что: «Мы — не наблюдатели, а участники бытия...» Человек тем и отличается от животного, что способен сам создавать, культивировать свои доминанты. «Самое трудное — победить самого себя», — любил повторять Алексей Алексеевич, но тут же оптимистически утверждал: «Природа наша возделываема!»

Своё открытие в области физиологии, свои изыскания в области психологии Ухтомский всю жизнь старался перевести на язык этики. Мотивы человеческого поведения он изучал для того, чтобы помочь человеку жить нравственной жизнью. Исходя из своего учения о доминанте, Ухтомский выводит так называемую проблему «двойника» и тесно связанную с ней проблему «заслуженного собеседника».

Каждому из своих учеников (с некоторыми из них мне довелось встретиться) он запомнился не только как яркий, самобытный учёный, но и как необычайно скромный, искренний человек, переполненный деятельного внимания к жизни, к каждому встречаемому «лицу» (в это слово Ухтомский вкладывал большой, уважительный смысл).

Свой быт он поставил так, чтоб жить ничуть не лучше, чем жили в трудные послереволюционные годы столь любимые им «простые люди». Большую часть своего

профессорского «жалованья» и всё, что досталось ему по наследству, Ухтомский то вкладывал в организацию приюта для сирот (это ещё до революции), то посылал на содержание училищ и школ в свой родной город Рыбинск, то просто раздавал деньги знакомым и мало знакомым людям, которых видел в нужде.

Когда началась война, Ухтомский упорно отказывался уехать из Ленинграда. В последний год жизни он успел осуществить перестройку научных исследований своего института на нужды обороны страны. Главной темой теперь стала проблема борьбы с травматическим шоком. Будучи тяжело больным, истощённым от голода, Алексей Алексеевич находил в себе силы много и плодотворно работать. Он умер в блокадном Ленинграде 31 августа 1942 года, но пусть он шагнёт сейчас к читателю живым, таким, как видят Ухтомского его ученики:

«Высокий, широкоплечий, импозантный, с большой седой бородой и откинутыми назад чёрными волосами, нос с горбинкой, круглые металлические очки. Всегда в чёрной длинной суконной рубахе, опоясанный тонким ремнём, в высоких хромовых сапогах. Он идёт по университетскому коридору с высоко поднятой головой, держит в одной руке кожаный картуз, а в другой — большой, видавший виды портфель: там лежит одна-единственная лекционная тетрадь. Он идёт с большой серьёзностью, солдатским шагом, сильно стуча коваными сапогами. Гремит коридор. Ему приятно, когда студенты или случайные люди здороваются с ним, он отвечает с улыбкой, кланяясь».

ДВОЕ НА ПЛОТУ

Узнала я этих двоих давно и случайно. Работала я тогда в отделе новостей, и очень мне нравилось ездить куда подальше, да поинтересней, да чтоб сразу репортаж в номер. Довелось побывать в сердце Каракумской пустыни, проехать по «золотому кольцу» Колымы, спуститься в скафандре на дно Байкала. Привлекала сенсация, экзотика поездок. Интерес к «экзотике человеческой души» пришёл позже.

В тот раз я летела в Норильск, и в самолёте у меня оказался любопытный сосед. Этого парня с туго набитым рюкзаком и с огромным букетом тюльпанов я заметила ещё в аэропорту. Перед окошком регистрации он вызвал гнев весовщицы: слишком медленно снимает свой рюкзак. А парень просто боялся помять цветы. В самолёте наш разговор начался, как начинается большинство дорожных разговоров: бывала ли я раньше в Норильске? Нет? А он там жил. Три года. Теперь возвратился домой в Москву, но Заполярье тянет. Заработал вот неделю отгулов и решил слетать к друзьям. Я недоверчиво взглянула на его букет: «И много ли у вас друзей?» Он ничуть не смутился: «У нас железная шестёрка». То есть шестеро парней. И стал рассказывать, что они дружат с института, что при распределении попросились в Норильск, потому что на вечной мерзлоте можно ходить в самые трудные походы. Затем стал развивать весьма смутную для меня теорию «рационального риска»: «Нам не страшно лезть хоть к черту на рожон, потому что за риск мы подумали».

«А зачем лезть на рожон?» — спрашиваю уже нетерпеливо. До сих пор не понимаю — кому эти цветы? Он смеётся: «Зачем лезть? Да вот Андрей — это наш мозговой центр — хочет изучить на нас проблему максимальной человеческой выносливости. Это для теории, но иногда и в жизни походы помогают. Однажды заблудились в тундре рыбаки, весь город два дня искал, а нашли их мы. Между прочим, полезны походы даже в семейной жизни. Тот же Андрей (он у нас единственный женатик) устроил замечательно трудный заплыв на самодельном плоту через Байкал. Да, он и Лерка вдвоём. Лерке это оч-чень пригодилось. Кстати, букет везу ей».

Наконец-то разгадка! И какая романтическая: плот, Байкал, он и она... Отличный сюжет для репортажа.

В первый же вечер я прибыла по указанному попутчиком адресу. Маленькая комната была полна гостей, и все говорили о походе в тундру, он был назначен на следующее утро. В углу лежала гора рюкзаков, на столе самодельная карта. В общем, настоящая штаб-квартира, где самыми незаметными были хозяева. Андрей только раза два забегал за «железками». Я не успела с ним толком познакомиться — он спешил: в соседней с домом школьной мастерской заканчивал какую-то мудрёную электроплитку, которая должна была в тундре заменить костёр. А Лера, маленькая, тихая, сидела в углу с вязаньем. Длинные чёрные волосы, бледное лицо. Среди этого бурлящего, хохочущего мужского общества она была воплощением спокойствия и уюта. Иногда (очень редко) вступала в разговор, и тогда все замолкали, слушали её с той почтительной нежностью, которая просыпается в мужчинах при виде женщины, готовящейся в ско-

ром времени стать матерью. Но ещё и потому слушали, что она здесь, чувствовалось, была равной.

Утром Лера встретила меня одна. В той же комнате, которая стала теперь просторной и пустой. Вчерашний стол, оказалось, был перевёрнутой чертёжной доской. А из мебели стояли только две раскладушки у разных стен, кресло да живописный камень-валун, найденный, видимо, в походе. Рядом с книжными полками висела шкура убитой рыси. На подоконнике — те тюльпаны. В другое время такая «обстановка» могла бы показаться чем-то вроде пижонства, но после вчерашнего я приняла её как должное. И подумалось даже, что вот в такой комнате Лере легче ждать Андрея, который идёт сейчас где-то далеко по заснеженной, безлюдной тундре.

Заговорили о Байкале. Я рассказала, что была там примерно в одно с ними время, но то же расстояние (от острова Ольхон до восточного берега), которое они переплывали напрямик, мне пришлось преодолевать с пересадками тремя самолётами, так как дул баргузин и ни один рыбак не решался выйти на лодке в открытое море. Лера ответила, что плот гораздо надёжнее лодки, пыталась начертить схему плота, но бросила: «Андреево это дело». Достала альбом, и мы рассматривали фотографии — Андрей сделал их в том плавании.

Потом, забыв о Байкале, Лера торопливо, скорей себе, чем мне, стала рассказывать, какой замечательный человек Андрей, а она этого раньше не видела, мучила его... Я понимала: эта исповедь нужна ей, чтоб заглушить тревогу. И ещё догадывалась, что в их отношениях было что-то более значимое и драматическое, чем «сделали плот и переплыли вдвоём Байкал».

Репортаж я тогда не написала. Правда, в основном потому, что «взъерепенился» Андрей: терпеть не могу рекламы!

Я пыталась убеждать: заменю имена, не сообщу адрес. «Тогда вам никто не поверит». Он был прав: их путешествие мне самой казалось почти фантастическим, и главного-то я так и не смогла понять, что имел в виду мой попутчик с тюльпанами, когда заметил: «Лерке это оч-чень пригодилось».

Вскоре у них родился сын (в тот день от Андрея пришла телеграмма, похожая по стилю на Лерины письма: «Когда появился Васька, шёл снег хлопьями»). Когда ребенок заболел, Лера улетела на юг, к родителям. Год они с Андреем жили в разлуке. Возвратившись в Норильск, Лера снова стала работать учительницей. Ещё через год Андрей поступил в аспирантуру в Москву. Опять была разлука. А потом его оставили работать в одном столичном институте, и Лера с Васькой перебрались в Москву. Мы стали изредка встречаться. Их семья по-прежнему казалась мне почти идеальной. Но вот однажды Лера дала мне три толстых тетрадки (это были её дневники): «Чтоб разбить твою иллюзию о нас».

Дневники действительно иллюзию разбили, но жизнь оказалась неожиданней всяких домыслов. Теперь могу наконец-то рассказать об их Байкале, и уже не со стороны, а как бы изнутри рассказать. Итак, более разных людей, чем Лера и Андрей, вообразить трудно.

«Ты редкий настоящий человек. Но ни одной точки соприкосновения с моим миром. А я удивляться хочу каждый день. И тебя удивлять. Но если ночью разбудить тебя и сказать: «Посмотри, какая синяя звезда за окном», — ты рассердишься, да и не буду я тебя будить».

Первая тетрадка её дневников, написанная ещё дома, на юге, вся — про закаты и рассветы, звёзды и деревья, про мокрый асфальт, в котором плавают фонари. Она делила людей

на тех, кто чувствует красоту, и других, кто «хлебом единым». У неё была своя формула о «трудных случаях, когда требуется лечение красотой». И на Север приехала главным образом затем, чтобы посмотреть северное сияние. Но очень скоро ей стало не по себе в этом городе, где не бывает весны, где земля ничем не пахнет, и не растут цветы. Когда встретила Андрея, показалось: конец отчаянию. Хотела подарить ему всю красоту из своей прошлой жизни, «и песок снова станет розовым». Но...

«Раньше я могла болтаться всю ночь по улицам, бегать босиком в грозу, садиться в первый попавшийся автобус. Отчего сейчас это ушло, Андрей? Ты окунул меня в житейскую прозу. Мне тошно, понимаешь? Серость убивает. Но тебе я не скажу этого никогда».

«Тебе я не скажу этого никогда» — вот поэтому и продолжался дневник. Уже по первым его отрывкам Леру можно счесть натурой экзальтированной, и это будет, наверное, справедливо. Но я прошу у читателя снисхождения к этой её черте. Она такая, но ещё и другая, и третья. Позже станет сдержанней, но останется и прежней. А если бы она была иной, то Андрей, может, и не сказал бы ей: «Ты нужна мне как эталон, как критерий истины». Он тяжелослов, Андрей, и это было их единственное объяснение в любви.

В отношениях двоих всё так зыбко, неуловимо, неподвластно анализу. Там, где «нет», обязательно присутствует «да», благо перемешано с худом, разделить что бы то ни было почти невозможно. В общем, я точно уверена: если бы алхимики захотели изобрести пилюлю счастья, непременно примешали бы туда каплю яда. Так вот, жалуясь на тяготы «спартанской любви», Лера сама всего этого хотела.

Вот и пойми её... Когда они встретились, Андрей говорил, что в отношениях двоих каждый должен оставаться личностью, самим собой. Лера тоже об этом мечтала, но когда он стал осуществлять их программу на практике, заметалась.

«Можно восхищаться скалой, какая она сильная и гордая, но жить рядом... Одна высокая, отрешённая правильность во всём. Я знаю, что с тобой я в максимальной отдалённости от мещанства. И всё-таки холодно, слышишь?»

Нет, ей было холодно не потому, что Андрей стал невнимателен или равнодушен. Но он был внимателен по-своему и по-своему заботлив, а ей нужны были... слова. Лера, привыкшая к «сиропу слов», иногда отдаёт себе в этом отчёт: «Других презираю за слова, тебя — мучаю за молчаливость. Не гонюсь ли за чем-то незначительным, внешним?» Но потом забывает: «Ты — рыжий рационалист. Но тебе не выбить из меня лирики никогда. И под дуб ты меня не отделывай, под карельскую березу тоже».

А он и не пытался ни «под дуб», ни «под березу», и если уж говорить о том, что кто-то кого-то стремился переделывать, то это она, Лера, неосознанно хотела видеть Андрея похожим на себя. Нам так свойственно свои недостатки приписывать другим.

Лере, конечно, повезло с Андреем. Он — один из тех редких людей, которые в наименьшей степени склонны приписывать свои недостатки другому. Но Лера поймет это не сразу, не скоро. Только когда саму себя, наконец, поймёт.

Андрей пришёл к ней из жизни суровой и, правда, не любил сантиментов. В детстве у него не было того тепла, которое Лера щедро получила от своих заботливых родителей. Отец Андрея бросил семью, и мать осталась одна с пятью детьми.

Когда она заболела, младшего брата и Андрея отдали в детдом. В институте ему приходилось работать то грузчиком, то сторожем — стипендию отсылал домой. Времени не хватало даже на сон. Он привык себя ограничивать и только теперь, став инженером, дал волю идеям, которых у него всегда было невпроворот. То изобретал механическую лопату, и специалисты признали его конструкцию оригинальной, то строил самоходные сани... Но, кроме техники, он ещё занимался английским, выписывал из Ленинской библиотеки книги по экономике, пристально — не читал — изучал Льва Толстого. На его «железки», которыми бывала завалена вся их комната, уходила большая часть их «северных» денег, и Леру это порой раздражало. Андрей жил жадно, своей жизнью, и это тоже её раздражало.

«Ты сидишь и читаешь. Ты можешь читать даже стоя. И какое тебе дело до Рахманинова, в котором сейчас главная моя радость? Всё моё — тебе лишнее, Не в избитом смысле: «Ах, я тебе не нужна», — а в самом простом, человечьем. Зачем же тогда быть вместе? Чтобы мешать друг другу, задевать локтями, мыть по очереди полы?»

Её дневник лежал всегда на виду. Не раз она просила Андрея прочесть, но он отшучивался: «У каждого человека должны быть свои тайны». Лера так и не знает, видел ли Андрей эту последнюю запись или сам всё почувствовал, но несколько дней спустя принёс рулон с чертежами: «Вполне надёжный плот. Хочешь, махнем на Байкал?»

И вот здесь вроде бы кульминация: на Байкале она вдруг открыла человека, с которым два года жила под одной крышей. В расплывшихся строчках (эта тетрадь на Байкале тонула) — вскользь о красоте Байкала, о проделках баргузина, который

трое суток держал их на грани жизни и смерти, а подробно — как трудится Андрей от зари до зари, делая плот. Как он лезет в ледяную воду вылавливать надувные камеры, которые с предательским треском отрываются постоянно. Как он истёр руки в кровь, налегая на весла. Как ни разу не растерялся и даже в самый страшный момент, когда трёхметровые волны норовили отбросить их плот прочь от берега, который уже был виден, и Лера стала кричать, Андрей только улыбался, ловко поворачивая парус. Уже потом, на твердой суше, она напишет: «Восхищаться Рахманиновым и говорить красивые слова умеют все, а ты подарил мне меня». Кульминация? Внешне — пожалуй, но если по существу...

Вот страница более позднего дневника, обращённая к сыну: «Васька, слушай, я, наверное, должна чаще рассказывать тебе об отце. Есть в нём стержень, который сразу не увидишь, он не просвечивается даже рентгеном. В людях нужно видеть суть, а не вывеску. В людей надо верить. Они все хорошие, хотя в чём-то слабы. Но не ищи зла в других. Ведь что ищешь в людях, то и находишь. Это я открыла благодаря твоему отцу. Сейчас он ушёл в поход в тундру. Это опасно, но он вспоминает о нас, а мы с тобой — о нём. Это, наверное, спасает, когда люди в упор, мысль в мысль думают друг о друге. Я верю в него и знаю, что он способен преодолеть мороз, одиночество, страх... Я так хочу, чтоб ты вырос похожим на отца».

Потом, перед их новым отъездом на Север (там Андрею была предложена «более самостоятельная работа») в одном откровенном разговоре Лера говорила: «Представь, мы почти не ссоримся, Андрей всегда шутит: «Знаешь, почему долго живут слоны? Они не выясняют отношений». Правда,

зачем отравлять жизнь мелочами? Я отношусь к нему, как в самый первый день. По-моему, любить — значит относиться к человеку как к чужому, но ещё любить».

Да, Байкала у них могло и не случиться, но они всё равно были бы такие: двое на плоту. Двое непохожих, но необходимых один другому. Двое борющихся друг за друга и побеждающих вместе. Их «плот» и сейчас устойчив, хотя жизнь, обыкновенная, будничная жизнь, порой опасней морских штормов.

* * *

Чтобы понятней стала эта кажущаяся странной кому-то любовь, хочу закончить строками из другого дневника. Его вел всю свою жизнь светлый человек, автор знаменитой теории «доминанты», академик Ухтомский, о котором шла речь в предыдущем очерке. Итак, Алексей Алексеевич писал:

«...И мне всегда казалось бедою, когда человеческая любовь заглохнет в «счастии», любовь так бесконечно важна и драгоценна для нас именно потому, что она — гроза и буря, из которой рождается вдохновение, обостряется зрение, открывается слух; но всё это только до тех пор, пока она не заглохнет в «счастии».

...Любовь сама по себе есть величайшее счастье изо всех доступных человеку, но сама по себе она не наслаждение, не удовольствие, не успокоение, а величайшее из обязательств человека...»

* * *

И ЛЕТИТ ТОПОЛИНЫЙ ПУХ...

История дружбы, о которой пойдёт сейчас рассказ, поистине уникальна. Представьте себе: люди закончили школу в 1935 году, но до сих пор всем классом дружат. Сначала в это трудно поверить — прошло столько лет, можно сказать, вечность, а класс не распался, не расстался? Дружит целый класс? Я тоже сомневалась, думала — «формальное множество», пока не увидела их всех вместе. Стоило провести с ними один вечер, и сразу почувствовала: разные, совсем разные, эти люди за годы так срослись гранями характеров, судеб, что теперь «наш десятый» (так они сами себя именуют) стал будто один Человек. Человек глубоко порядочный, разносторонне образованный, добрый, верный.

О существовании «нашего десятого» узнала в строгой, официальной обстановке Министерства гражданской авиации СССР.

Внушительных размеров кабинет. Батарея неумолкающих телефонов. Строгая секретарша у двери. Хозяин кабинета — в очках-пенсне, чуть седеющие волосы, располагающая к доверию улыбка. Впрочем, ничего этого я пока не замечаю. Вижу абстрактного «начальника», от чьего решения зависит судьба человека, которому вот уже пять лет тщетно пытаюсь помочь. Надежды мало. В стольких других кабинетах уже сказано категоричное «нет». Случай не вмещается в рамки закона и будто бы

противоречит соображениям здравого смысла. И вдруг я слышу решительное, нерассуждающее «да». Игорь Петрович Шинкаренко сразу поверил в необходимость, разумность того, что другим казалось и невозможным и бесполезным. «Достойное исключение только укрепляет закон. Кроме того, разве обществу безразлично, счастливым или несчастным будет один-единственный человек?» — говорит он и начинает расспрашивать подробности той, необычной судьбы. «Молодец парень! Такая верность детской мечте!» — восклицает он. «Несгибаемый дух города берёт», — радуется он. «А настоящие друзья у парня есть?» — осведомляется он. И тут уже совсем близко к признанию: «Да, друзья юности — самое большое наше богатство. Сколько ни встречаешь потом в жизни интересных, знаменитых...» В общем, в том официальном разговоре Игорь Петрович мельком упомянул про свой необычный класс. Я, конечно, заинтересовалась, но он осёкся: «Не знаю, как отнесутся друзья, если привести журналиста...»

Кончилась весна, и уже настало лето, когда дождалась я наконец звонка Шинкаренко — он приглашал меня на встречу с «нашим десятым». Помню, мы вышли из метро «Сокольники» и сразу попали в облако тополиного пуха, увидели стаю девушек в белых платьях и поодаль юношей в чёрных костюмах, те и другие выглядели весьма торжественно. «Наверное, на бал», — догадался Игорь Петрович. Да, был июнь — время выпускных балов. Так символически переплелось: в этот вечер мне как раз предстояло услышать про самый первый школьный бал. Ведь шли мы к людям, которые танцевали на том первом балу.

А был «наш десятый» самым обыкновенным классом самой обычной школы под номером 12, стоявшей на окраине тогдашней Москвы, у Дорогомиловской заставы («Наше Дорого-Милово»). Но им повезло родиться в необычное время — в один год с Октябрём. Абсолютные ровесники революции — вот кто эти люди.

Когда они вступили в своё совершеннолетие, стране тоже исполнилось восемнадцать. Молодая страна, залечив раны войн и разрух, приступила к строительству новой советской интеллигенции. «Побольше знающих людей!» — требовало время. И вот: «В 1935 г. Советская страна праздновала первый выпуск своей 10-летней средней школы. С трибуны Колонного зала Дома Союзов десятиклассница Аня Млынек в горячей, взволнованной речи благодарила...» («История СССР с древнейших времён до наших дней», т. 9, с. 235). Аня Млынек — бывшая староста их класса, до сих пор оставшаяся душой класса. «Так что, — с гордостью отмечают они, — наш класс вписал свою строку в историю...» Они были первыми выпускниками советской десятилетки. Оттого и танцевали на первом балу.

Каким был тот бал, расскажу позже, а пока хочу, чтоб читатель представил, как выглядит сегодня «наш десятый», когда он в сборе. Не знаю, надолго ли эта перемена в облике сохраняется, но свершается она быстро. Мы с Шинкаренко появились в квартире в Сокольниках почти первыми, и я могла наблюдать, как приходили другие, усталые, обременённые делами, должностями, внуками и, увы, болезнями люди, но уже через несколько минут общения, будто глотнув высокогорного воздуха, они становились азартными, свежими, юными. Спорили о новом фильме. Возмущались

«зазнайским поведением» своего одноклассника, обсуждали, какие принять к нему меры. С хохотом вспоминали новые сапоги своего учителя: «Он из-за тебя эти сапоги сшил, Р. Он был влюблен... Перестаньте!.. Мы негодовали: зачем такому старому (а было-то ему 26, ой-ей!) новые сапоги... Зато Сашка... Ну, Сашка, учудил. Помнишь, на экзамен, да ещё ждали высокую комиссию, ты пришёл босиком!.. Нет, носки были... Босиком!»

Скоро разговор рассыпался на множество осколков, превратился в сплошной галдёж, где имели смысл не слова, а перекрёстные улыбки, взгляды, колкости (под личиной колкостей скрывалась, конечно, нежность). Называли друг друга по фамилиям, кличкам. Отчеств друг друга будто не знали. Только у меня было в тот вечер чинное имя-отчество. И казалась я себе единственной взрослой, попавшей в компанию беззаботных мальчишек и девчонок.

Беззаботных... В середине вечера кто-то сказал: «Нет среди нас Васи Андреева — он, лётчик, сгорел в воздушном бою». И подхватили многие голоса, и прозвучало как реквием: «Нет Павлика Чистякова — он, политрук, погиб под Измаилом. А теперь уже нет Лёши Добролюбова, Бэтти Замаховской, Ванечки Назарова — всех троих мы потеряли недавно, в один мирный год. Но их ранняя смерть тоже отголосок войны, все трое были на фронте...»

Сколько их теперь в «духовном землячестве»? По-прежнему можно сказать, что весь класс. Кроме тех нескольких, что разъехались в другие города, или тех совсем немногих, что и в школе держались особняком. Те не в счёт. Во всяком случае, каждое 17 октября на встречу в школе приходят, представьте, человек двадцать. «Почему именно

17 октября?» — спросила я. Странно, они не смогли ответить. Такие мелочи помнят: клетчатую косынку, синюю с белым, которую по очереди надевали на испытания, даже мальчишки (считалось, счастливая примета), развесистую пальму в углу тесной Тониной комнаты, под которой до рассвета зубрили алгебру в десять голосов; ковбойскую бляху на ремне у Игоря Шинкаренко, он уже в те времена (насколько опередил современных мальчишек!) увлекался ковбоями... А откуда взялась дата 17 октября — забыли.

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен...

Вспоминаю: встречи лицейских друзей бывали 19 октября. Близкая ассоциация? Впрочем, какая разница. Ведь встречается-то «наш десятый» не только 17 октября, не только в дни рождения (свои, своих детей и теперь уже внуков), но и просто потому, что цветут яблони в Подмосковье, или потому, что «загрустили по нас Воробьёвы горы». Два Саши с каждым годом всё безуспешнее, но с не признающим обид упрямством агитируют всех с собой на лыжи. Зато Тоне Филипповой агитировать класс на художественные выставки не приходится: «Ты свистни — себя не заставлю я ждать».

Шестеро из них стали врачами, шестеро — инженерами, трое учёных, два преподавателя, есть писательница, художник, историк, искусствовед.

«Нашим десятым» написано более 100 научных трудов и книг, получено свыше 100 орденов и медалей. Они гордятся друг другом, но нет у них гордости друг перед другом.

«Неважно, кем ты стал, важно, каким ты стал, узнаем ли мы в тебе того, кого полюбили. Важно душу сохранить. А все регалии опадают. Все регалии остаются на земле», — объясняла мне кандидат физико-математических наук Наталья Михайловна Мухина.

Когда-то в школе они вызывали друг друга на соревнование — до сих пор хранят листочки в линейку и клеточку с такими вот соцобязательствами: «Исправить неуд... Не иметь записей в штрафной тетради... Не ходить по школе в шапках и калошах...» Когда одна из них, похоронив в эвакуации мать и ребенка, вернулась в военную Москву, не имея ни работы, ни дома, школьная подруга поселила её у себя и делила с ней буквально последний кусок хлеба. Когда один из них тяжело заболел и замкнулся от всех, школьный друг, помогавший когда-то ему в учёбе, устроил его на другую работу, рядом с собой и буквально помог выжить. Когда одна из них, потеряв близких, сумела пережить горе с завидным мужеством, ей тоже помогло, конечно, присутствие друзей.

Но они спасают друг друга не только тем, что в любую минуту любой из них (сколько же раз это было?!) бросается другому на помощь. Не только. Их дружба, как и каждая настоящая дружба, держится бескорыстием: «Мне достаточно знать, что ты есть на свете».

Все они стали сильнее, узнав, как проявила себя их Рахиль Ханина, работавшая вместе с мужем на Дальнем Востоке. Когда на крохотный остров Шумшур обрушился цунами, она, врач, единственная из женщин, помогала пострадавшим и покинула остров с последним кораблём.

Анна Млынек (помните: девочка, выступавшая с трибуны Колонного зала? Она стала писательницей) в глазах своих друзей — «образец гражданского мужества, оптимизма и бескорыстия». Так они говорили о «душе класса» в тот вечер в Сокольниках. Потом я имела много случаев в справедливости этой характеристики убедиться — Анна Григорьевна Млынек стала и мне другом. (Вот она, щедрость большой дружбы: магнетизм её распространяется волнами далеко вокруг...)

«Нас в школе воспитывали не только педагоги, нас воспитывала и воспитала вся страна... На сознании того, что каждое маленькое дело важно так же, как и большое... На том, что нет ничего невозможного». (Из речи Ани Млынек в Колонном зале.)

А помнишь?

...Всем классом мы едем в Крым. Никто из нас не видел моря. Мы заработали его собственными руками. Мы грузили уголь на Киевской-Сортировочной. Мы давали спектакли в клубе Горбунова.

...Наш Николай Николаевич Панин задаёт нам на уроках сочинять стихи, писать свой конец к любой из трагедий Шекспира. Он так читает Блока! «Ветер, ветер — на всём божьем свете!..»

...У нас самоуправление. Учителя подчёркивают: «Школа принадлежит вам, вы в ней хозяева». Это правда. Ни одно дело не решается без согласия учкома. Наш полпред присутствует на заседаниях в самом Наркомпросе. Вот понадобился школе радиодинамик, купить его негде, и мы идем прямо к Крупской.

Сколько же раз в тот вечер в Сокольниках звучало это «а помнишь?»!

И вот магией общей памяти прошлое становится реально существующим, и, кажется, вижу, как они сейчас, сегодня идут на тот первый бал. В пригласительном билете после «торжественного заседания, концерта» написано пугающе чужое слово «бал». Но смело шагают по мраморным лестницам батисты, сатины, ситцы.

Во втором часу ночи зал с колоннами (неизвестно, куда и когда были сдвинуты стулья) осветился прожекторами, зазвучал вальсом. «Парами! Парами!» — кричал человек в рупор. Они не умели парами (в школе не учили бальным танцам), да и скучно было парами. Неслись общим вихрем, взявшись за руки.

В газете того времени было написано: «Звенели трамваи, заботливо поданные к Дому Союзов. Вальс продолжался на асфальте. Они входили в жизнь, танцуя».

Танцуя? Потом, после бала, какие только испытания не выпадут на долю этого «солнечного поколения» (так в 1935-м назвал их на встрече в Колонном зале). Многие их семьи пережили ужасы сталинских репрессий. Но эти люди не озлобились, сумели сохранить верность идеалам юности. Не потому ли, что дружба помогала им «при любых обстоятельствах стоять прямо. Помнить, что горизонтальная линия — это линия змеи. Человек вертикален!» Это, как известно, одна из так называемых «храбростей Джона Рида». Выписываю цитату не из книги. Из письма, что «послал» в 1995 году как пожелание в год 2000 директор одной подмосковной школы со своими учениками. Всё не случайно. Этот директор — сын их Рахили, которая так стойко встречала цунами.

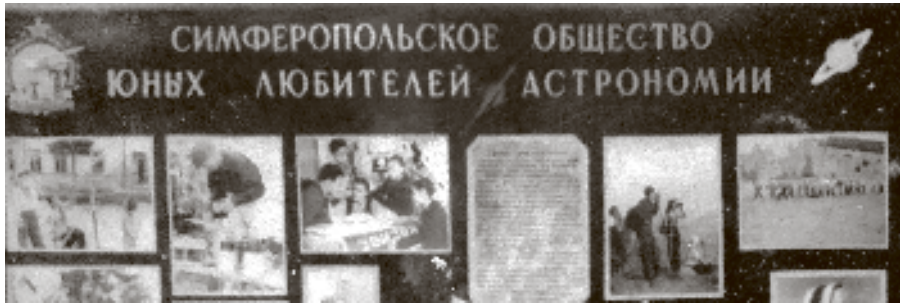
Возвращалась я с той встречи счастливая. Было лето. Летел тополиный пух. На улицах мелькали белые платья нового выпускного бала. И были они легче, белее тополиного пуха. Или это, вдруг подумала я, летит само время? «Мгновенье, ты прекрасно!..» Не останавливается? Но вот же, оказывается, его можно вернуть. И будет прекрасное мгновенье сопровождать человека всю жизнь, если позвать его не от «я», а от «мы». Если может человек сказать кому-то это волшебное «а помнишь?». И тогда пусть, пусть летит тополиный пух.

* * *

«...И смысл, и цель, и полнота, и живое содержание человеческой жизни — в обществе, в общем деле с такими же другими, в способности раствориться в жизни других», — писал А. А. Ухтомский. И он же говорил, что самозамкнутое, самоутверждающееся «я» обрекает человека на постоянное преследование своим «двойником»: везде он видит самого себя, ибо приучился всё рассматривать только через себя»

* * *

«Комсомольская правда», 1997 г.



Василий Мартыненко создал СОЛА и научил нас любить звезды.
«Какого цвета небо?», стр. 16





Наш Вася Мартыненко был по профессии художник, а стал астрономом

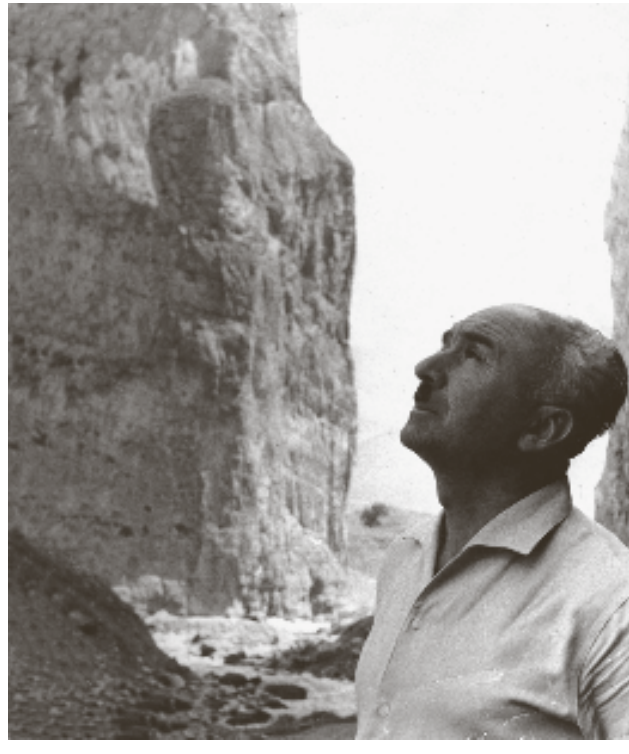


Знаменитый диссидент Кронид Любарский тоже был «солавцем»





Гуго Петерс — «Летучий голландец»
(стр. 154)



Урузмаг Дзгоев — «доктор Кармадонский»
«Не зовите его чудаком», стр. 144



Зинаида Александровна Миркина и Григорий Соломонович Померанц
«Бог открывается человеку в такие моменты, когда Он особенно человеку нужен», стр. 5



Валерия Дмитриевна и Михаил Михайлович Пришвины. Во время войны уехали в деревню Усолье Ярославской области
«Жизнь — как творчество», стр. 43

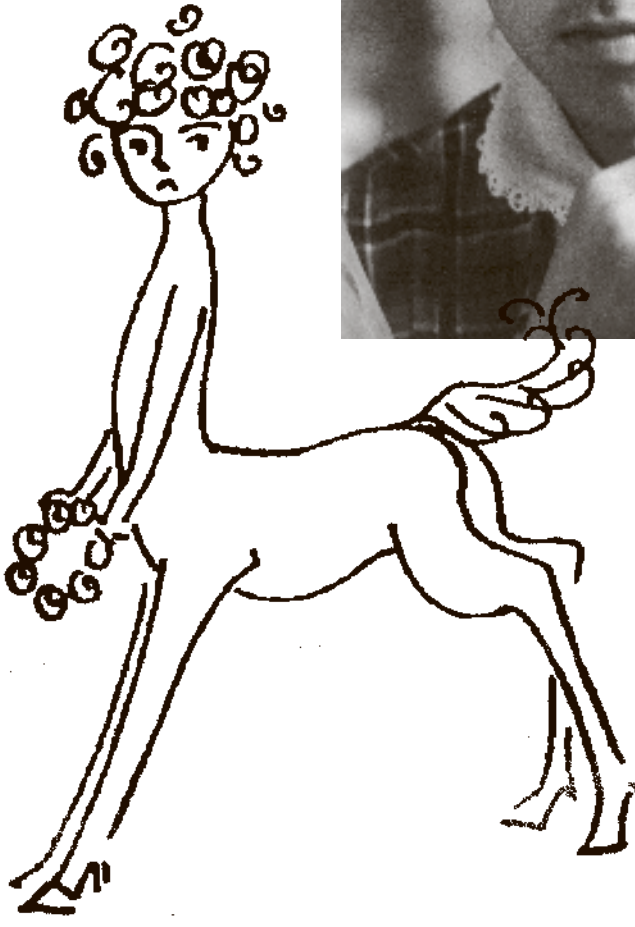


Владимир Котельников
«Пирожки с акцентом», стр. 65



Каттакурган. Во дворе к у Хамита Саматова
«Отец», стр. 196





Надя Рушева и ее знаменитый «кентавренок»
«Загадка Нади Рушевой», стр. 166



Кажется, такой я была в конце 70-х



Мне посчастливилось родиться в Крыму, и я умею разговаривать с морем











Нас с Эдуардом
поздравляют
в ЗАГСе
22 марта 1960 года



Сын
родился!





Ничто не мило, когда «не пишется»





На Байкале



Теплоход шел на Соловки



Навсегда полюбила запах типографской краски



ДВОЙНИК

Утром, ещё раньше петухов, начала куковать кукушка. Из холодной синеватой дали доносилось её эхо, и сквозь стены будто проступала вся глубина и высота леса. Но старики кукушку не слышали. Они спали. Необычно для себя в этот утренний час они спали, потому что ночью малыш не дал им уснуть. Он то ворочался, и Инна Аполлониевна вставала его укрыть. То начинал плакать, и они вместе — Инна Аполлониевна и Дмитрий Васильевич суетились вокруг него, предлагая воды и молока, а потом по очереди брали его на руки.

Через несколько часов был мой поезд, и пора было прощаться, но хотелось оттянуть время. Я уже знала, что так и не смогу сказать им правду о цели своего приезда.

Привело меня к ним письмо их сына, который вроде бы ратовал за «покой и благополучие своих стариков», а на самом деле...

«...Мои отец и мать живут в лесной местности. Отец получает небольшую пенсию, и этого старикам бы хватило, учитывая посильное внимание двух дочерей и сына (у всех нас большие семьи, и живём мы далеко от них), если бы не их неустанная забота о внучке, которой уже 27–28 лет.

Случилось так, что дед и бабка воспитывали Ирочку с малых лет. Её отец бросил семью, а мать (моя сестра), имея двоих детей, не пожелала навязывать такую ношу второму мужу. Благо старики сказали: «Езжай, дочка, устраивай свою жизнь, а мы Иринку досмотрим». Итак, они растили и пестовали девочку, она при них окончила школу,

потом лесной техникум и поступила в Ленинградскую лесотехническую академию.

Потом она работала и жила у деда с бабкой, вышла замуж и с мужем уехала на юг, где оба нашли работу. Рожать молодая мать приехала к старикам. Как раз тогда я побывал в тех местах и увидел их — усталых, измученных свалившимися на них хлопотами — и полную жизни, цветущую от счастья материнства Иринку.

Позже я получил от них письмо. Ирина уехала к мужу, а Игорька оставила им на попечение. Бабушка оправдывали внучку: «У Иринки пропало молоко». А потом мои старики на много месяцев замолчали»

Пространное это письмо кончалось так: «Эгоизму Ирочки нет предела». И стояла подпись: «Ирочкин дядя».

С Николаем Дмитриевичем, автором письма, мы встретились на вокзале большого города, откуда идут поезда в тот лесной посёлок. Он, возвращаясь из командировки, решил заехать вместе со мной к своим старикам. Суховатый в словах, резкий в движениях, он был не таким, как представлялось по его эмоциональному письму. Когда заговорил о родителях, тон его стал мягче. Оказывается, отец его воевал в отряде Щорса, был военным лекарем. В Отечественную, оставаясь с медпунктом в тылу, был связным у партизан.

Николай Дмитриевич не хотел, чтоб родители знали о его письме в редакцию, и предложил мне появиться в их доме «инкогнито»: «Ну, скажете, что интересуетесь биографией отца».

А потом мы подошли к дому на опушке и еще издали увидели в окне всех троих. У Дмитрия Васильевича было

смуглое, удлинённое острой бородкой лицо. И неожиданно молодые ярко-чёрные глаза. Он держал правнука на коленях, а Инна Аполлониевна (седые волосы зачёсаны в пучок, как у гимназистки, шаль с кистями наброшена на плечи) подносила к раскрытому по-галочьи рту Игорька ложку с клубникой.

— Значит, мучитель всё ещё у вас? — после первых приветствий спросил мой спутник. Слова прозвучали над головой улыбающегося мальчишки странно и грубо. Но старики, кажется, не удивились. Дмитрий Васильевич только посмотрел на сына с кротким упрёком, Инна Аполлониевна встрепенулась: «Бог с тобой, Коля, опять ты...» Всё напоминало продолжение давнего спора, который его родители не желали вести при постороннем. Николай же Дмитриевич вновь и вновь возвращался к «непристойному поступку Иры». Старики тускнели, слова сына причиняли им боль. Я объясняла для себя поведение своего героя тем, что он, имевший когда-то отношение к журналистике, старается таким вот образом помочь мне в «сборе материала». Впрочем, это был как раз тот редкий случай, когда «собирать» ничего было не нужно.

Перед глазами текла жизнь. Вся на виду. Именно текла, тихая и неторопливая, мудрая и постоянная, похожая на близкую к дому речку и стоящие за окном вековые сосны. Впрочем, сосны только кажутся вековыми. Когда сорок лет назад Инна Аполлониевна и Дмитрий Васильевич сюда приехали, деревья были не выше кустов. Ну и старики были тогда молодыми, а в их доме стоял шум ребячьих голосов. Потом дети выросли, разлетелись, и только летом у бабушки с дедушкой стали отдыхать внуки. Впрочем,

после войны, когда жизнь была особенно трудной, в доме стариков снова поселились обе дочери и сын, Николай Дмитриевич, — все со своими семьями. Но этот дом, вернее, две комнаты (на другой половине всегда помещался фельдшерский пункт Дмитрия Васильевича), никогда не был тесен. В последние годы из всех детей и внуков оставалась в доме одна Ира.

Николай Дмитриевич мог бы не заводить разговор о ней. Старики сами каждый час её вспоминали. Она прилетала домой в феврале, когда заболел Игорёк, была недавно, в майские праздники. Её комната, её книжки. Клён, сторожем стоящий у порога,— «ровесник Иры». Дом усеян тысячью мелочей, которые когда-то подарила, привезла или уже теперь почтой прислала внучка. Дмитрий Васильевич, ошибаясь, называет жену Ирой. Инна Аполлониевна окликает его Игорек... Оба они медлительны, хотя Дмитрий Васильевич старается держаться бодро. В прошлом году он ещё на охоту ходил, а работать бросил только два месяца назад. «Что ты, Коля, я совсем не из-за денег тянул. Я просто — ты знаешь — свою профессию почитаю. Да и потом, что ж за человек без работы?» Инна Аполлониевна — уже в который раз — вспоминает о недавнем юбилее лесного техникума, когда съехались бывшие выпускники («И почему же ты, Коля, не приехал?»), а Дмитрия Васильевича посадили в президиум. К нему подходили в перерыве незнакомые люди: «Помните, вы меня от малярии вылечили?» «А меня вы у матери принимали, когда акушерка не успела приехать». Они шли и шли, забытые им, но помнившие его люди, и Дмитрия Васильевича охватывала такая радость, что до сих пор от неё щемит сердце.

Инна Аполлониевна ещё работает. Три раза в неделю даёт уроки музыки в детском саду. Конечно, из-за Игорька у неё больше ни на что не хватает времени — ни почитать, ни в лес сходить, да и клумбы запущены. Но вот через месяц приедет Ира и увезёт мальчика — его обещают устроить в ясли. «Успеем ещё наотдыхаться, да и натоскуемся без него».

— Ждите, заберёт. Обманет она вас, — ронял Николай Дмитриевич, а старики суетливо доставали в доказательство Ирины телеграммы и, уже не стесняясь меня, спорили с сыном горячо, неумело: «Кто ж ей поможет, если не мы?» Вот так же, оказывается, они спорили с ним и раньше — в письмах, а потом, обидевшись, перестали ему отвечать. Но он и сейчас их будто не слышит, будто не видит. С этим и уехал.

Я пошла проводить его на вокзал и решилась сказать, что никак не могу принять его нетерпимую позицию и вообще считаю, что, щадя стариков, нельзя выносить эту историю на страницы газеты. Он взорвался: «Дело не в них, надо проучить Иру. И не только её, а чтоб и другим неповадно было». Пока издали приближался поезд, Николай Дмитриевич торопливо говорил, что молодёжь пошла сейчас неблагодарная и что печать должна её воспитывать. Уже с подножки он крикнул, что, если я не напишу, он обратится в другую газету, а кроме того, он ведь написал уже на Ирину стройку. «Возмездия не остановишь», — прозвучало под лязг колёс. Возвратившись в тихий дом стариков, я не могла вспоминать последние слова их сына отдельно от того резкого, металлического звука колес поезда. Вот как. Камерная история выплеснулась, оказывается, за

эти бревенчатые стены и уже где-то на далёкой стройке скрежещет тот же вопрос: «Есть ли предел эгоизму?» А вдруг чужие люди, неосведомлённые о тонкостях дела, и вправду поспешат проучить Ирину?

Нет, нужно спешить. Чтоб остановить «возмездие».

В город, где живёт Ира, пришло от Николая Дмитриевича не одно, а три письма. Первое — на имя секретаря горкома партии. Второе — секретарю парткома стройки, и в него было вложено третье — открытое письмо Ирине. Вот оно, начинающееся с обращения «Ирочка»:

«Твоё поведение цинично, подло, мерзко. Вы живёте вдвоём, зарабатываете на обстановку в данной вам квартире за счёт вгоняния в могилу бабушки с дедушкой. Вместо того чтобы облегчить им старость, ты подбросила ребёнка и превратила их в непосильных роботов, рабов своей прихоти. Какой же отец твой избранник, если согласился жить с тобой, такой бесчеловечной?»

Тот же убористый шрифт, те же знакомые листы с зелёными полосками (бланки бюро технической информации, где Николай Дмитриевич работает инженером). В письме в редакцию автор всё-таки старался предстать всё понимающим, добрым. Он ведь знает, что к сложностям жизни следует относиться сложно, но ему было нелегко в том письме пересилить себя. Зато теперь, когда писал «по месту работы виновницы», его казнящая нетерпимость прорвалась на волю. И была как своеобразный реванш: чем мягче там — тем категоричней здесь, чем добрее тогда — тем непримиримей теперь. Так случается обязательно: человек может прятаться, совершать шаги, ему несвойственные, но потом, в конечном счёте, проявит свою истинную суть...

Эти три письма на стройку (три сразу!) кажутся на первый взгляд нелогичными в действиях сына, пекущегося о судьбе родителей. Ведь уж он-то знал, каким горем могут стать для стариков новые Ирины неприятности. Тогда зачем же, ради какой благородной цели выстукивал на машинке эти кляузы? Может быть, Николай Дмитриевич и в самом деле верил, что помогает родной племяннице стать человеком?

Пока я молча читала, Ира сидела сжавшись, будто все эти резкие слова я произносила вслух. Её обветренное, загорелое лицо (Ира работает на строительстве трассы) показалось проще и старше, чем я ожидала увидеть по фотографиям. Она только начинала о чём-то рассказывать и тут же замолкала: а вдруг я подумаю, что она оправдывается?

Обо всём трудном в её жизни я узнала не от неё, а от секретаря парткома. Оказывается, муж Иры раньше уже был женат. Он ушёл из семьи давно, но первая жена не даёт развода. Никакой квартиры у них нет. Заявление на ясли Ира подала ещё до рождения сына, но в городе эта проблема не легче квартирной.

— Честно говоря, нам было стыдно таким разбирательством заниматься. Тем более, что Ирина будто окаменела — никаких слёз, истерик. Ни слова, понимаете, ни одного дурного слова о дяде не сказала. А он, за что же её так?

Мне снова вспомнились старики. Как радовались они приезду сына, как вспоминали о его детских успехах — «в четыре года читать научился, в школе стихи сочинял, всем на свете интересовался, даже с Циолковским, да, да, с самим Циолковским, переписку вёл». А он в это время крупно шагал по комнате, их сегодняшний сын, и перебивал

«лирику» деловыми вопросами: сколько денег присылает Ира и какую зарплату получает её муж?

Теперь, издали, становилось ясно: не столько «Ирочкин эгоизм», сколько именно доброта стариков, их самоотверженность и щедрость раздражали Николая Дмитриевича. Сам он совсем иначе относится к людям, к жизни, к деньгам. Ну и что? — казалось бы. Оставил бы их в покое. Но нет. Николай Дмитриевич относится к той категории людей, которым для собственного самоутверждения совершенно необходимо кого-то осуждать и попирать. И дело тут не только в нетерпимости. Причина изощрённей. Часть его натуры (всё-таки он сын своих родителей!) где-то в глубине души понимает, что позиция стариков намного выше, благородней, чем его собственная. И с этим он никак может смириться. Обвиняя их в альтруизме, зачёркивая бескорыстие как способ жизни, он тем самым как бы оправдывает себя в собственных глазах.

...Он шагал по комнате и обрушивал на «своих стариков» каскад гневных слов, приводил примеры из литературы. Он был увлечён, он нравился себе в этой роли непреклонного поборника истины. А «истина», созданная им вначале как бы в защиту родителей, становилась постепенно чем-то отвлечённым, вне и помимо его существующим.

А ещё был день, когда Николай Дмитриевич загрустил, не находил себе места и вдруг спохватился, что надо бы чем-то старикам помочь. Решил вскопать грядку, картинно спас отросток дуба, попавший под лопату, принёс его на ладони: «Куэркус педункулята! Всё-таки я бывший лесовод». А потом сел рядом на скамейку, вздохнул: «Здесь, в отчем доме, невольно отдаёшь себе отчёт, что жизнь в общем-то

не удалась». И стал вспоминать, сколько раз приходилось ему менять место работы, и всюду его не понимали, всюду несправедливо с ним поступали. А ведь он всегда хотел только правды. «Справедливости и правды!»

Было так горько его слушать...

* * *

Вот оно, воочию, самозамкнутое, самоутверждающееся существование, которое, как писал А.А.Ухтомский, обрекает человека на преследование своим Двойником. Куда бы он ни шёл, какие бы места ни искал, ни менял, везде с ним повторялось одно и то же. Потому что везде и всюду он видел и замечал только одного себя. Правда, которую он вроде бы отстаивал, за которую вроде бы страдал, была нигде и никому не нужна, потому что не было в ней ни души, ни жизни. Она была необходима только ему одному. Как зеркало для самолюбования, как оружие для самоутверждения.

«Освободиться от своего Двойника — вот необыкновенно трудная, но необходимейшая задача человека!» Ключ к пониманию целого мира и своего конкретного соседа, считал А. А. Ухтомский, «даётся лишь с того момента, как решится человек не заставлять других тяготеть к нему как к отправному центру, но попробует понять, сам обратиться к тому, чем живут другие в своей самобытности, независимо от его желания и искательств...».

* * *

«МЕНЯ СУДЬБА НЕ БАЛОВАЛА»

Только отказываясь от многого
во имя одного, наиболее важного,
человек может достичь желанной цели.
Г. А. ИЛИЗАРОВ

Кто не знает Илизарова, доктора из Кургана? Этот человек совершил революцию в мировой ортопедии и травматологии. Он — директор научно-исследовательского института, доктор наук, профессор, заслуженный врач РСФСР, заслуженный изобретатель РСФСР... Но достаточно просто сказать: «доктор из Кургана» — и все поймут, что речь об Илизарове.

Он делает вещи почти фантастические: с помощью своего оригинального аппарата удлиняет конечности более чем на 50 сантиметров, путём бескровной операции (даже без скальпеля!) устраняет кривизну и другие дефекты ног, рук и буквально «лепит» их заново. Метод Илизарова применяется нынче практически во всех городах страны, да и за рубежом. Число исцелённых больных достигло уже 530 тысяч. Сроки лечения стали в 2, а то и в 8 раз меньше обычных.

Сейчас метод Илизарова, вернее сказать — гражданский и научный подвиг, получил всеобщее признание. В 1978 году учёный удостоен звания лауреата Ленинской премии. В 1981-м стал Героем Социалистического Труда.

Итак, человек стоит на вершине. Что он чувствовал и пережил на пути к ней? Какие нравственные открытия сделал?

* * *

Когда я прилетела в далёкий сибирский город Курган, Гавриила Абрамовича Илизарова в созданном им институте не было: его срочно вызвали в Москву. Ожидая, я переживала ощущение невероятного, но абсолютно реального чуда, которое совершается здесь буднично и непрерывно.

Ну, представьте себе, со всех концов страны сюда приезжают люди после катастроф и болезней. Самые отчаявшиеся, как правило, те, кому во всех других местах сказали роковое «нет». Безнадёжные приезжают сюда за последней надеждой. Становясь пациентами этой единственной в своём роде клиники, ещё не отбросив костылей, с конечностями, окольцованными металлическими дугами (так выглядит аппарат Илизарова), они уверенно и бесстрашно смотрят в будущее.

Я не раз замечала: пациенты Илизарова ничуть не стыдятся своих физических недостатков. Со спокойной готовностью демонстрируют их многочисленным посетителям института. Даже с каким-то гордым вызовом. Ведь чем тяжелее сегодняшнее увечье, тем разительнее будет эффект завтрашнего исцеления. Здесь каждый больной чувствует себя участником волшебного действа.

Недаром клинику Илизарова называют весёлой больницей. Я видела, как девчонки, прислонив к стене костыли, играют в классики, присутствовала на занятиях художественной гимнастикой, а однажды вечером увидела

в вестибюле несколько танцующих пар — аппараты на ногах, представьте, не мешали танцевать, а всего лишь замедляли движения.

Я ходила по коридорам, по кабинетам и всё думала о докторе, который своим трудом и талантом создал этот необыкновенный метод лечения. Какой он человек, Илизаров?

Мнение пациентов и мнение коллег не совпадали. Больные рисовали образ мягкого, безотказного, очень доброго доктора. А сотрудники говорили о таланте, почти гениальности учёного, для которого работа и жизнь — одно и то же, но пугали: «Суховат... О себе говорить не станет... Надоели журналисты — может и прогнать».

Возвратившись в Курган, Илизаров назначил мне встречу на 10 утра. И беседа состоялась в 10, но не утра, а вечера. Весь день я сидела в углу кабинета и видела, как его, что называется, рвут на части неисчислимые, непредсказуемые «надо» в образе врачей с рентгеновскими снимками, диссертантов с новыми гипотезами, строителей с различными требованиями. Бесконечность неотложных дел. И самое бесконечное — очередь за дверью. Гавриил Абрамович принимает больных с утра до ночи. Да, до поздней ночи его кабинет — в плотном кольце осады. Все новые больные, приезжая из разных городов, сидят, стоят — надеются, ждут... Однажды я сама видела: последний больной вышел от Илизарова ровно в полночь. Говорят, бывает и позже.

В тот поздний вечер я, конечно, предлагала нашу беседу отложить. Но Илизаров — человек слова: он чуть откинулся в кресле, закурил сигарету (и это был для него уже отдых),

твёрдо произнёс: «Нет, всё-таки начнём... Ничего не люблю откладывать, никогда не люблю и спешить». И я сразу спросила о том, о чём думала весь этот день:

— Вы так много работаете и совсем не умеете отдыхать. Мне говорили, у вас никогда не бывает выходных и вы не ездите в отпуск. Получается, что живёте только для других и совершенно не живёте для себя?

— Не понимаю... А что же человеку делать, если не работать? Спать? Пить? Стать лабораторией по перевариванию пищи? Да что это, скажите, значит — жить для себя? Взять и просто побродить по лесу?.. Конечно, кому ж не хочется! Грибы, например, собирать люблю. Но я рационалист, я взвешиваю: какое получу удовлетворение, если побуду час в лесу, и какое — за этот час в институте... Отдыхать? Да, это правда — в отпуск почти никогда не езжу, но какой здесь подвиг? Поехал я однажды в санаторий, а через неделю сбежал. Стало мне невыносимо скучно. Так что всё просто: каждый раз из двух радостей я выбираю б*о*льшую. Живу так, а не иначе не потому, что должен, а потому, что — хочу!

Кажется, мой первый вопрос вызвал у него раздражение. Постепенно успокаивается:

— Думаете, почему я люблю принимать больных? Встреча с каждым из них для меня — поиск нового. Найти новое, реализовать его и увидеть, что помог человеку, — наивысшая, ни с чем не сравнимая радость. Блаженство! Настроение потом бывает такое, что идёшь по земле, а земли под собой не чувствуешь. Так что не нужно, пожалуйста, меня жалеть.

— Вас, действительно, не за что жалеть, можно только вам завидовать. Но ведь далеко не всем удаётся жить в таком полном соответствии со своим призванием.

— Не верю, что бывают люди без призвания. Просто встречаются сонные, которым не повезло — никто не успел их разбудить, не было у них в юности захватывающей встречи.

Выбор, по-моему, всегда начинается с удивления. У меня как было? Однажды в детстве посчастливилось заболеть. Говорю «посчастливилось», потому что с этого всё и началось. Жили мы в горной деревне, был я старшим сыном в бедной многодетной семье. Врачей до девяти лет в глаза не видел. А тут как-то наелся до отвала груш, обрызганных медным купоросом, и прямо погибал. Мать вызвала фельдшера. До сих пор его помню: солидный такой человек, толстые роговые очки, авторитетный взгляд. Он заставил меня выпить пять чайников кипячёной воды, сделал укол и боль исчезла. Я ожил. Я был потрясён. Я решил: буду фельдшером! У меня появилась зовущая цель. А цель — цело серьёзное.

Я, например, пошёл в школу сразу в четвёртый класс. Раньше учиться мне было некогда — пас скот, пахал, убирал камни Случалось иногда продавал дрова — по 30 копеек за вязанку. А как стал учиться, нужно было догонять сверстников, корпел над учебниками даже по ночам. Зато в пятом классе уже стал отличником, поступил на рабфак, закончил его экстерном и тоже — на пятёрки. Если посчитать, получается, что десятилетку проскочил за пять лет. И всё потому, что очень уж хотел, торопился стать доктором. Потом — Симферопольский мединститут, война, эвакуация. Мы рвались на фронт, но нас не брали: в тылу эпидемии, нужно спасать людей. По окончании института послали меня в село Долговку — это километров

150 от Кургана. Там на весь район не было ни одного врача. И стал я земским доктором — лечил и детей, и взрослых от всех болезней. И роды принимал, и зубы, если надо, вырывал, и пластические операции делал... Но уже в Долговке твёрдо понял: главное для меня — ортопедия и травматология.

Тут я спросила: многое ли в его жизни зависело от случайностей?

— Как сказать? То, что с юга в Сибирь попал, — случайность, наверно. А вот то, что выбрал именно ортопедию, — конечно, закономерность. Меня поразило, как много здесь нерешённых проблем. Это и привлекло меня. Опять говорю о выборе. В XX веке невозможно быть универсалом. Важно не только выбрать профессию, нужно чётко найти своё место в ней. То есть не распыляться, а сосредоточиться на своём, конкретном. Это, конечно, трудно. Сегодня слишком много соблазнов. Сходить в театр, в кино, почитать интересную книгу... Потребить что-то, созданное другими, конечно, легче, чем самому какое-то дело сделать. Легче... А потом все эти «легче» превращают жизнь в цепочку случайностей, и человек постепенно теряет себя.

— Так уж прямо и теряет? Простите, Гавриил Абрамович, но у вас, по-моему, весьма странное представление о потребительстве. Вы перечисляете: театр, кино, книги... И говорите: «потребить». Но ведь это не товар какой-то, а пища для души. Как же современный человек может жить без всего этого? Мыслим ли интеллигентный человек без приобщения к культуре?

— Что ж поделать, но мне к культуре редко удаётся приобщиться. Начнёшь, например, хороший роман, который,

как говорят вокруг, стыдно не прочитать, а тут снова вызов — очередной трудный больной, и нужно всё отложить, срочно искать для него уникальный способ лечения и, значит, читать-перечитывать горы специальной литературы. Я уж смирился. Большое дело не даётся малым трудом. Так вот, в моей жизни случай касался только внешней её стороны. В главном я всегда делал сознательный выбор.

— Вы отказываете себе в таком наслаждении, как чтение, во имя дела. Ну а если у человека нет такого важного, целиком захватывающего дела (у подавляющего большинства — нет), стоит ли обеднять, ограничивать свою жизнь? Уж лучше, по-моему, потреблять созданное другими — слушать, например, хорошую музыку, чем во что бы то ни стало изобретать велосипед — писать плохие песни, стихи...

— Я не считаю себя вправе говорить об искусстве. В пользе разных хобби тоже плохо разбираюсь. Хотя и сам, знаете, когда-то рисовал, играл на мандолине, балалайке, гармонике. Скрипка до сих пор дома лежит. Сейчас единственное отвлечение, которое себе позволяю, это посидеть над своей коллекцией камней и кораллов. Но и то редко. Однако я настаиваю, что самоограничение (можно называть это целеустремлённостью) необходимо каждому человеку. Важен в жизни рабочий настрой. То есть ориентироваться не на удовольствия, а на дело: жалко время попусту тратить. Если творчески работаешь, то не страшна никакая усталость, наоборот, только тогда и обретаешь силы. Упорство, смелость и фантазия нужны в любом деле. Под фантазией я понимаю поиск нового. Скажете, открывать новое дано не каждому? Но кто знает заранее, кому дано, а кому нет? Обидно, что многие даже

не настраиваются на поиск, считая, что он доступен только людям необыкновенным. Но все великие до поры до времени были самыми обыкновенными.

...Я и раньше не раз думала: сколько же открытий в нашей жизни не совершается только потому, что большинство из нас, расставаясь с детством, теряют способность удивляться окружающему, верить в свою удачу, в свои силы — не ждём мы, не ищем своё «а вдруг».

Он продолжает:

— Да, просто обидно: почему взрослые так быстро перестают быть детьми? Ребёнок смотрит на мир как бы первым взглядом. Без предубеждений. Всем интересуется, обо всём спрашивает: а почему? Он свободен от власти авторитетов, не боится показаться наивным, не боится ломиться в открытую дверь... Да, в самом привычном можно открыть неожиданное! А потом сам поражаешься: как же я этого раньше-то не замечал?

— Мне рассказывали, что, будучи студентом, вы очень захотели помочь фронту и решили изобрести бомбу — такую, чтобы, падая, выстреливала ещё многими маленькими снарядами.

— Было дело. Но возьмём более близкий пример. Наш метод. Он ведь тоже родился из этого самого «а вдруг». Со времён Гиппократа считалось, что переломы срастаются очень медленно оттого, что, в отличие от всех других тканей организма, кость — особо твёрдая ткань и обладает пониженной способностью к восстановлению. И вот человека, сломавшего ногу, заковывали в гипс, укладывали на много месяцев в постель, да ещё в мучительно неудобном положении: не двигаться! Но ведь человек-то живой.

Неловкое движение — и обломки кости разошлись, ведь гипс и скрепляющие винты и шурупы, как правило, надёжной фиксации кости всё равно не обеспечивают. Значит, снова операция и все мучения заново. А виновата, считалось, сама кость — долго не срастается.

Но может ли существовать такое недоразумение в природе? И мыслимо ли смириться с тем, что ещё у Гиппократа сроки сращения кости были такими же, как у нас сегодня? Правда, древние вместо гипса применяли лубки, пальмовые листья, но суть-то приёмов осталась прежней.

Теперь, когда нам удалось результатами тысяч операций доказать, что кость — одна из наиболее активных тканей, что она отлично восстанавливается, если создать ей благоприятные условия, теперь кажется странным: ну почему мы не верили в ее большие потенциальные возможности? За что её винили? Да разве может в живом организме быть что-то пассивное? В своё время, задав себе этот простой вопрос, я интуитивно почувствовал, что сами принципы лечения переломов устарели. И с тех пор мне не давала покоя мысль: неужели нельзя найти что-то радикально новое?

Я слышала и читала много разных версий о том, как он сделал своё открытие. Кто-то пишет, что Илизаров ехал к больному на лошади и обратил внимание, посмотрел «первым взглядом» на нехитрое сооружение: хомут — дуга — оглобли... И что этот принцип крепления стал прообразом аппарата. Кто-то рассказывает, что доктор летел на вызов и вот в воздухе — понял...

— Да, окончательная идея аппарата возникла у меня в полёте. Это было больше 30 лет назад. Тогда я уже рабо-

тал бортхирургом областной больницы, по несколько раз в сутки вылетал на экстренные вызовы. Самолёт «По-2» был старым, дребезжал на лету. Крылья — фанерные, обтянутые тканью (я этого не знал, вскочил раз на крыло — хлоп! — и дырку прорвал). Кабина открытая, сидишь в унтах, в тулупе, ветер в ушах свистит — книжку в руках не удержишь. Только и оставалось в пути, что думать. Очень хорошо это получалось! Как сейчас, помню тот полёт: стужа лютая, вьюга метёт, самолёт проваливается в воздушные ямы, а мне как раз в этот момент приходит в голову новая, как оказалось потом — окончательная мысль о принципе аппарата, и хотелось, как Архимеду, крикнуть: «Эврика!»

— Один журналист написал про вас: «Оно, «вдруг», накапливается постепенно, как дождевая туча, чтобы в одночасье обрушиться ливнем...» Что было перед тем, как вам пришла эта окончательная мысль?

— Что было перед тем? Перед тем я тоже думал. Шёл куда-то — думал, делал операции и по ходу каждой — думал, ложился спать — думал... Ещё, конечно, много читал. Выписывал по абонементу всё, что только можно было выписать в мою Долговку. Читал днём и ночью. Брал отпуск и ехал в Москву, не вылезал там из библиотек. Пришлось овладевать такими науками, о которых раньше понятия не имел. Да, и сопромат изучал, и механику, и даже биомеханику. Потом, когда разрабатывал конструкцию аппарата, довелось научиться слесарному делу...

Наш аппарат относительно прост: спицы, кольца, стержни, винты... Когда-то нас высмеивали: «Слесарный подход к хирургии...» Да, сам больной (вы, наверно, не раз видели это в нашей клинике) подкручивает гайку и удлиняет

ногу. И она вырастает на один-два миллиметра в сутки! Но не нужно думать, что всё так уж просто.

Аппарат нельзя делать для всех по шаблону, это не безразмерный чулок. Детали его унифицированы, имеют многоцелевое назначение, из них, как из детского конструктора, можно создавать практически неограниченное количество вариантов в зависимости от лечебных задач... У нас один метод, но более 600 методик. Мы постоянно создаем экспериментально-теоретические разработки.

Свой оригинальный и такой простой по конструкции аппарат Гавриил Абрамович предложил медицине ещё в 1951 году, будучи «земским» врачом в Долговке. Революционность метода, отвергающего вековые устои в ортопедии, была заложена уже в этом, самом первом аппарате. Естественно, ему не могли сразу поверить, некоторые учёные подняли его на смех. Сравнительно недавно был, к примеру, такой курьёз: один уважаемый итальянский врач, прочитав статью о результатах клиники Илизарова, воскликнул: «Не может быть! Как смеет газета компрометировать моего коллегу из Кургана, который и не знает, наверное, какую «утку» сочинили о нём журналисты!» А между тем, Илизаров сам её придирчиво редактировал перед выходом.

Слишком оригинально и слишком ... просто. Так все гениальное — просто. Истина эта известна на словах, но пойди утверди её в жизни...

Впрочем, сама жизнь помогала Илизарову доказывать его правоту: больные на удивление быстро выздоравливали на глазах у недоверчивых оппонентов. И вот, наконец, свершилось — люди, от которых зависело внедрение нового

метода, поверили в него. Однако легче от этого не стало. Поверить-то они, может, и поверили, но принять его не спешили. Разные были причины, в том числе и корысть, и зависть. Сколько раз Илизарову предлагалось «авторитетное» соавторство! Но этот провинциал был несговорчив, упрям и, конечно же, нажил себе немало сильных врагов.

Кроме всего прочего, надо же понимать: открытие Илизарова сводило на нет десятки диссертаций, монографий, расшатывало авторитет многих светил.

Собственно, всё было в порядке вещей. Каждое большое открытие неизбежно проходит свои адовы круги: сначала оно удивляет, вызывает недоверие, потом от него пытаются «откусить» ломоть и наконец — может быть, самый мучительный этап — его демонстративно не замечают и этим тщатся принизить, отнести в разряд обыденных.

Десятки раз докладывал Гавриил Абрамович о своём методе на различных научных конференциях, имел уже не одно авторское свидетельство об изобретении, получал из авторитетных инстанций положительные оценки, его аппарат был рекомендован даже для широкого внедрения, но в ортопедии и травматологии всё оставалось, как было десятки, сотни лет назад. Долгие годы драгоценный курганский опыт применялся лишь в некоторых клиниках страны, и то — полупартизанским путём. Против метода Илизарова велась молчаливая атака. Целые институты ополчались на одного изобретателя. Сейчас нет смысла с именами и подробностями ворошить старое. Этапы этой жестокой борьбы запечатлены на страницах газет. Почти четверть века она длилась, и мужество курганского доктора столь же восхищает, как само его открытие.

— Гавриил Абрамович, было время, когда в метод Илизарова верил один-единственный человек — врач Илизаров. Что помогло вам выстоять, сохранить уверенность в своей правоте?

— Скажите, когда и кому было легко утверждать новое? Но если ты взялся, нужно уметь ждать, нужно понимать, что люди в большинстве своём загипнотизированы привычными, устоявшимися истинами, что им, твоим противникам, в свою очередь, тоже трудно. Трудно, что и говорить, принять новое. Я сейчас не о тех, кто противится новому из соображений личной выгоды. Но даже доброжелатели... Вот случай. В перерыве конференции, на которой я впервые докладывал о наших результатах (и был встречен, конечно, в штыки), ко мне подошёл один учёный и дружески посоветовал: «Метод интересен, но, знаете, стремительность сроков излечения не вмешается в сознании. Вот вам добрый совет: в отчётах специально завышайте свои сроки! Тогда вам скорее поверят».

Мои молодые коллеги поначалу возмущались: «Ну как можно не признавать очевидных фактов? Пусть они посмотрят наших больных...» Я их успокаивал: сегодня не понимают — завтра поймут. Говорил же Павлов, что факты — воздух и крылья учёного. Будем, значит, копить факты!

Рассказывают, что неторопливость Илизарова порой обескураживала союзников, его действия казались многим абсолютно нерасчётливыми. Как тянул он, например, с получением учёной степени, хотя она, конечно, могла бы помочь ему утвердить открытие. Ещё в 1965 году на учёном совете Министерства здравоохранения РСФСР, где было впервые сказано решительное «да» методу

Илизарова, был поставлен вопрос и о том, чтобы присвоить ему кандидатскую степень без защиты диссертации, по совокупности опубликованных работ. Но он и после этого не спешил «остепеняться». Прошли ещё годы, прежде чем Илизаров решился наконец на защиту. Правда, тут уж ему сразу присвоили докторскую степень...

— Я всегда старался делать то, чего в первую очередь требовала от меня жизнь. Врача, если он настоящий врач, прежде всего ведут по жизни страдающие глаза больных.

Да и что толку спешить, нервничать? В любом новом деле, по-моему, необходимо заранее настроиться на долгую борьбу. И верить в победу, верить! Не допускать даже мысли, что возможно поражение. Знаете, если начнёшь бояться: а вдруг моя нога завтра ходить не будет, а вдруг я послезавтра умру? — так и жить нельзя, не говоря уже о том, чтобы бороться.

Вы заметили, в одном из наших кабинетов висит плакат: «Желание — тысяча возможностей, нежелание — тысяча причин». Если всей душой поверишь в успех своего дела, то откроешь в себе силы, о которых раньше и не знал. Да о чём тут спорить? Если ты твёрдо убеждён, что прав, на каком, собственно, основании сдаваться? Только потому, что ты пока один и что тебе слишком трудно? Но в правом деле человек не останется один.

Я спросила, помнит ли он кого-то из самых первых своих больных.

— Меня иногда упрекают: почему, мол, не узнаёшь людей на улице? Я оправдываюсь: близорукий. Но знаете, всех своих больных, каждого в лицо помню. Впервые применил аппарат в пятидесятом году. Это была пожилая женщина, фамилия её — Крошакова, жила она в селе, 15 лет ходила

на костылях. После нашей операции уехала домой и вдруг пишет: на станции меня никто почему-то не встретил, пришлось пешком пройти девять километров, по грязи, но нога — как новая!

* * *

Хочу рассказать один, почти фантастический эпизод о волшебстве Илизарова. Слышала о нем от очевидцев.

Итак, на пороге его кабинета появилась женщина (сама по профессии — врач), исстрадавшаяся за долгие годы болезни: высоко поднятые над костылями плечи, висящая плетью нога, полные страха и отчаяния глаза. Еле втиснулась в дверь и — враждебный взгляд на тех, кто был свидетелем её неловкости и бессилия. Илизаров, почти не глядя на неё, внимательно выслушал про операцию, не принесшую облегчения, пристально и долго изучал снимки, показывал коллегам: странное дело, никаких необратимых изменений рентген не обнаруживал. Задал больной несколько несущественных вопросов. И вдруг сильным, не допускающим ни малейшего сомнения голосом отчеканил:

— Вы должны ходить без костылей. Вы можете ходить. Операция вам не нужна. У вас хорошие, здоровые ноги. Мы вам сейчас поможем, у нас есть одно особенное лекарство...

Врачи недоумевающе зашептались. Ярко-чёрные кавказские глаза Илизарова теперь уже были обращены не на больную, а на коллег, будто их он тоже гипнотизировал. И они поняли его без слов. Гавриил Абрамович позвал старшую медсестру: «У нас, кажется, осталась последняя ампула? Не будем жалеть ради такого случая».

Сейчас уже трудно вспомнить, глюкозу или ещё какой «дефицит» принесла медсестра. Илизаров сам сделал укол, потом сгибал и разгибал ногу больной. Всё это длилось около часа. Напряжение стояло такое, что у многих — вспоминают очевидцы — выступила испарина на лбу. И наконец — его голос, почти крик:

— Вставайте! Идите! Вы можете ходить! Вы будете ходить! Вы здоровы!

Илизаров призывно протягивал к ней руки. Она сделала первый шаг, второй, ещё не понимая, что с нею происходит. Но шла, шла, отбросив костыли, слегла припадая на только что выпрямившуюся, похудевшую за годы болезни ногу.

Оказывается, Гавриил Абрамович (он умеет видеть каждого пациента, что называется, насквозь) сразу почувствовал, что здесь всё дело в нервах, в элементарном страхе перед болезнью. Именно страх и стал болезнью — сковал движения. И требовалось единственное лечение — снять его злые чары .

Этот факт редко рассказывают журналистам. Слишком он невероятный и может рождать в сознании больных ненужные надежды на лёгкость исцеления.

Но вернусь к нашей беседе:

— Гавриил Абрамович, в книге почётных гостей я нашла отзыв одного профессора: «Представляется, что мы не только у истоков нового направления в медицинской науке, но и у истока нового подхода к человеческому организму в целом, новых методов его активного совершенствования». Прокомментируйте, пожалуйста...

— Ещё Гиппократ советовал в поисках истины прежде всего обращаться к самой природе. Вот мы и стараемся ей

подражать. Выявив неизвестные ранее целесообразные механизмы, существующие в организме человека, мы разрабатываем на их основе новые способы лечения. В конечном счёте помогаем организму восстановить утраченную гармонию. И организм, надо отметить, откликается на это с радостью.

Наши больные начинают ходить буквально на второй день после операции. Это необходимо. Без напряжения рост кости замедляется, ростковые зоны ее атрофируются. Нужны нагрузки! Работа мышц улучшает ее кровоснабжение, создаёт хорошие условия для ее срастания. Суть метода в том, что мы сотворяем новые, благоприятные условия для роста и регенерации кости.

В принципе с помощью наших аппаратов можно вырастить и великана... И знаете, какая ещё открывается загадка? Мы, например, «ремонтируем» ребёнку одну, больную ногу, удлиняем её, и от этого будто весь организм получает толчок: мальчишка был ниже своих сверстников, а тут за год-два догоняет их. Да, великие резервы таятся в человеческом организме. Пожалуй, это правда, что закономерность, которую мы открыли, имеет общебиологическое значение.

«...Когда знакомишься с тем, что вы делаете, становится легче жить», — написали в книге отзывов артисты театра «Современник». «Мы видели живое чудо!» — восхищается группа шахтёров из Донбасса. «Дорогие скульпторы от медицины!..» — начала свой отзыв группа ленинградских писателей. Когда читаешь подряд эти многочисленные тома благодарностей, когда изо дня в день наблюдаешь жизнь этой «весёлой больницы», начинаешь привыкать

к чуду. Но однажды, будто озарение, приходит понимание главного. Почему, собственно, так волнует людей творимое Илизаровым? Дело ведь не просто в искусстве врача, не просто во всесилии метода. Дело в том, что доктор Илизаров не только конечности врачует, он исцеляет душу!

Многие из проводимых здесь операций — например, снятие горба, приостановка слишком быстрого роста нынешних акселератов или, наоборот, ускорение медленного роста, многочисленные косметические операции на конечностях — не являются жизненной необходимостью. В биологическом смысле эти недостатки не мешают человеку существовать. Они всего лишь ранят душу. Всего лишь... Но кто сказал, что угнетённая душа болит меньше, чем переломленная кость?

Илизаров соглашается с моими мыслями о восстановлении гармонии духа:

— Да, я всегда говорю своим коллегам: не думайте, что мы просто конечности лечим, мы всего человека спасаем. Была одна девушка... приехала к нам такая несчастная, во всём разуверившаяся... А вот недавно получаем от неё из Ленинграда приглашение на свадьбу, пишет, что теперь она — самая счастливая. Да сколько таких писем, судеб... Давно известно, что перенесённое страдание заставляет больше ценить жизнь. Если же всё даётся легко и просто, воля размагничивается и человек теряет способность отличить, что хорошо, что плохо. Можете записать: я лично доволен, что меня с детства судьба не баловала.

Здесь я решилась задать давно интересующий меня вопрос: правда ли, что Гавриил Абрамович спит по три часа в сутки и никогда не устаёт?

— Если бы сейчас, к примеру, я сидел перед телевизором, то, конечно бы, уснул. Сегодня спал всего три часа. Но творческая работа не подпускает к человеку усталость... А в юности, помню, очень любил поспать. Потребность была такая. Самому это не нравилось, но совладать с собой не мог. Прочёл как-то про удивительного человека из Югославии. Ну, помните, был такой солдат, который потерял способность ко сну — вообще не спал. Болезнь есть такая, а я, глупый, позавидовал: вот бы мне научиться... Ну, а теперь жизнь так поставила, что спать по четыре-пять часов в сутки стало для меня нормой. Адаптировался. А как же иначе? Для научной работы остаётся, по сути, только ночь. Мог бы, конечно, уходить из института пораньше. Но сам же буду переживать, если оставил очередь непринятых больных, в таком настроении мне работать будет трудно. И нет, значит, другого выхода, как выкраивать время за счёт сна, отдыха. Впрочем, работать, по-моему, всегда полезно.

...Не решаюсь смотреть на часы: невесть сколько идёт наша беседа. Вся больница, весь город давно спит, а Илизаров будто забыл о времени. Но мне-то пора и честь знать. Задаю последний вопрос:

— К вам пришли теперь успех, признание... Изменилось ли ваше отношение к жизни?

— Да, кое в чём изменилось. Раньше, когда мои ученики призывали идти в атаку против тех, кто нам мешал и вредил, я отвечал: «Рано или поздно противники сами отступят». Теперь отстаивать наш метод уже нет необходимости, и я пересмотрел свою позицию невмешательства. Можно быть великодушным к своим противникам, но к чужим ты обязан быть непримиримым. Если ты

порядочный человек, то помоги другому, чтоб у него не повторились твои тупики. В этом направлении я и собираюсь дальше действовать.

* * *

Все годы, прошедшие после нашей встречи с Илизаровым, я продолжаю издали следить за его судьбой. Да разве только я? Илизаров, как звезда первой величины, притягивает теперь интерес и внимание многих. Итак, известно, что он много и плодотворно работает, упорно держится за свой Курган, хотя не раз получал предложения перенести центр ортопедии в столицу... Пришло сейчас время пожинать ему плоды своих трудов. Каких только наград он не удостоен! От Ордена Улыбки, который вручен ему несколько лет назад от имени детей Польши, до самой высокой награды нашей страны — ордена Ленина.

* * *

НЕ ЗОВИТЕ ЕГО ЧУДАКОМ

Как ищут в сказках синюю птицу, как плавают в легендах за золотым руном, так ходил за целебной водой Кармадонских источников Урузмаг Сандровиче Дзгоев, заслуженный врач РСФСР, человек, которого ведёт по жизни одна, но пламенная страсть.

«Считай недостойным сердиться»... Этот самодельный плакат — чёрным по белому — висит в его кабинете над дверью. Посетители обычно садятся к плакату спиной. А видит его человек, который за столом, тот, кто эти слова придумал. Придумал давно, когда не было у него ни кабинета, ни времени плакаты писать, а было только много поводов, чтоб сердиться.

Впрочем, плакат не устарел. Сейчас «поводы» появились новые... Вот пишу это и вижу строгий, будто без преград в сами мысли проникающий взгляд Дзгоева, слышу его голос: «Обо мне, пожалуйста, поменьше. Кармадону помогите!» Но рассказывать врозь о Дзгоеве и о его горьком детище — курорте Кармадон никак нельзя. Они вот уже десятки лет вместе. И одна у них судьба, одна на двоих.

Это, конечно же, судьба свела Дзгоева с Кармадоном. Давно. Ещё в детстве. Заболел его отец. Бросился

в холодный Терек, чтоб починить прорвавшуюся плотину и, как говорили старики, «застудил кости». Несколько месяцев лежал отец недвижно, а потом кто-то сказал: «Только Кармадон может тебя спасти». Не о курорте шла тогда речь. Курорта ещё тридцать пять лет не будет... АКармадоном называются ещё сами источники, горячие источники, бьющие из-под Марийского ледника высоко в горах. Отца везли к ним на подводе с лошадьми, потом на ишаках, потом, где особенно опасно, несли на руках. Месяц отец пил целебную воду и купался в ней. Всё это время рядом с отцом был маленький Урузмаг. Мальчишка впервые увидел горы и первое в своей жизни чудо — обратно отец пришёл на собственных ногах.

Дзгоев и врачом стал из-за Кармадона. Уже на третьем курсе института, досрочно сдав экзамены, отправился «на разведку». Стояла зима. Тропинки, которые он видел только однажды в детстве, скрылись под снегом. Его проводил к источникам старик из селения Тменикау. После химического анализа в Ростовском медицинском институте оказалось, что литр кармадонской воды содержит 6–8 граммов лечебных солей. Урузмаг ходил именинником. В его голове проносились блестящие планы, где кармадонская вода, как живая вода из сказки... Но тут началась война.

Он прошёл её до конца. Привёз ордена и ранения, чин подполковника. Возвратившись, сказал своей жене Розе: «На войне моя жизнь ничего не стоила. А теперь я хочу отдать её за большую цену — за Кармадон». При всей их возвышенности эти слова — подлинные. В них выразилось очень важное, может быть, самое ценное, что вынес из

войны Дзгоев. Это — мера жизни, бед её и радостей по тем, военным законам. Это надолго, на много лет вперёд память: тогда было хуже... Не имей он такой меры, такого незабвенная, может быть, и не вынес бы всего, что ждало его впереди.

Тогда, после войны, он пришёл в республиканское министерство здравоохранения и почти в точности повторил слова о Кармадоне, которые сказал накануне жене. Ему ответили, что в Осетии есть другие, уже действующие курорты, вот с них-то и надо начинать. В общем, назначили Дзгоева, который был одним из первых врачей республики, начальником курортного отдела. И стал он ездить в санаторий «Цей» и печься о нуждах курорта «Орджоникидзе», ну, а в Кармадоне, его дорогом, его сновиденном, всё оставалось диким и нетронутым.

* * *

Ждать? Тогда, в неостывшем от войны сорок шестом году, это было, может быть, и верно. Но Дзгоев не умел ждать.

Да, существует на свете «сегодня» и «завтра», со своей логикой, со своими железными законами. Такова жизнь... Но существуют на свете и люди, которые хотят с этими законами смириться, которые нетерпеливо пытаются возместить эту объективную невозможность своей личной субъективной сверхотдачей, которые уже сегодня несут «службу завтрашнего дня».

Отчаявшись что бы то ни было сделать для Кармадона на высоком посту «курортного начальника», Дзгоев решил ехать туда простым участковым врачом. Хотя бы это. Для

начала. Его поступку подивились, но просьбу о переходе удовлетворили.

Сначала нужно было доказать, что Кармадон — не выдуманное, а реальное чудо. Экспедиции. Первые два лета, когда ещё не выветрился его авторитет бывшего начальника отдела, удавалось организовать настоящие выездные бригады — с сёстрами, лаборантками. И, кроме Дзгоева, еще два врача: Михаил Георгиевич Битаров, опытный, уже и в ту пору немолодой (сейчас он работает терапевтом курорта «Кармадон»), и Мария Борисовна Макеева, с которой Дзгоев познакомился на фронте — она его оперировала после ранения. На третье лето в ассигнованиях отказали. И он жил в Кармадоне единственным представителем медицины. Нельзя было прерывать исследования, режимные наблюдения за источниками нельзя было оставлять даже зимой. В любую погоду через каждые десять дней (не реже!) он ходил в Кармадон за пробами воды. Много лет подряд. А потом ему дали несколько больных в клинике, самых, кстати, тяжелых, и он ходил за водой для них. Вот это — ходил... Здесь на мгновение остановиться. Представить...

Я прошла по его тропе в горах. Это девять километров подъёмов и спусков, больших валунов и маленьких ручейков, иногда — болото. Моими проводниками были его дети — Зарема, Фатима и Батраз. Старшей — шестнадцать, младшему — десять. Старшая, Зарема, помнит. Её, трёхлетнюю, папа однажды взял с собой в Кармадон на целое лето. Весь наш путь с восторгом — об отце. Как было наводнение, как смело палатки, а папа был на охоте, пошел стрелять туров — у «экспедиции»

кончилось мясо. Дождь не переставал, а папа появился на том берегу, совершенно крутом берегу, и на него неслись камни, и он обязательно должен был погибнуть... И ещё про то, как зимой он просыпался и уходил с рюкзаком, в котором были два огромных бидона. И как потом, уже другой ночью, они все его ждали, а мама грела воду. Когда он возвращался, одежда на нём шуршала, и мама долго её оттаивала, а отец опускал ноги в таз с горячей водой и мигом засыпал.

Наконец в 1950 году комиссия Центрального института курортологии в составе пяти известных специалистов подтвердила:

«...Углекислые, мышьяковистые горячие воды Верхне-Кармадонских источников являются весьма ценными, не имеющими себе подобных в Союзе, пригодными для наружного и внутреннего применения при разнообразных заболеваниях».

* * *

Но пройдёт ещё десять долгих лет, прежде чем завезут первый камень. А для Дзгоева эти годы станут самыми невыносимыми. Они уже не будут согреты светом разумной необходимости, когда от него требовались доказательства, и он доказывал. Одно дело, когда тебе просто не верят, и совсем другое, когда уже верят, но всё равно не хотят помочь.

В своих кармадонских радениях Дзгоев был, конечно, однобок, он не видел «всего горизонта», не учитывал условий... Он просто-напросто надоел всем. Сначала у себя в Осетии, а потом уже в Москве, куда он десятки раз летал

«пробивать Кармадон» по своей собственной инициативе. В Министерстве здравоохранения РСФСР и в том же самом Институте курортологии его окрестили «доктором Кармадонским» и, в общем-то, старались избегать с ним встреч.

«Доктор Кармадонский», а ещё — «чудак»... Мне не хотелось называть его этим словом, но, к сожалению, слишком уж крепко прилепилось оно к нему в жизни.

Чудак... Звучит-то как умилительно, похлопывающе по плечу! Человек, коллекционирующий винные этикетки, и другой, всю жизнь посвятивший большому, важному для нас делу, одинаково — «чудаки». И стало это слово обидным от столь частого употребления. И стало даже вредным, потому что из сути его вытекает: он «чудак», носится со своей идеей, ну и пусть, мало ли на свете «чудаков»... То, что он только одним чем-то одержим (а мы-то взрослые, мы-то мыслим шире), опускается на наши глаза своеобразной ширмой, и мы уже не можем воспринять в чистом виде ни самого «чудака», ни его идею.

Больше того. Ведь был в жизни Дзгоева момент, когда по его родному городу Орджоникидзе вдруг поползла молва: «Урузмаг-то... на своём Кармадоне... свихнулся...»

...Штатную его должность «участкового врача» в ту пору ликвидировали. Нигде, кроме Кармадона, он из принципа работать не хотел, так что всей семьёй жили на учительскую зарплату Розы. Приходилось Дзгоеву донашивать своё старое, военное. Часто кружилась голова, и хотелось идти, касаясь рукой стены. Его всегдашняя быстрая походка выглядела при этом странно и была ещё одним, лишним «признаком»...

Его спасла тогда счастливая перемена в судьбе Кармадона. Из Москвы пришло распоряжение тресту «Севкавцветметразведка» пробурить скважины, чтоб получить минеральную воду вблизи площадки, доступной для строительства курорта. Лёд тронулся! Но работы шли туго, с авариями, и, наконец, кто-то специально, чтоб прекратить этот адов труд, бросил в скважину лом. И всё будущее Кармадона вновь повисло над пропастью. Вот тогда Дзгоев с присущим ему упрямством засел за книги по геологии. А потом, подучившись сначала в должности простого рабочего, стал начальником разведочной партии. Он, врач, два года подряд занимался буровыми работами. И добился. Вновь доказал. Из всех 15 скважин хлынула вода, «кармадонская».

Сейчас его бывшие «противники» (беру это слово в кавычки, потому что не было, не могло быть у него настоящих врагов, которые умышленно не хотели добра источникам, добра людям; были неверующие, были ленивые), так вот, и в Осетии, и в Москве единодушно признают сейчас, что строительство Кармадона затянулось бы ещё дольше, не будь этого «сумасшедшего», этого «толкача» Дзгоева. Вот ещё одно доказательство того, что в каждом сегодняшнем дне есть всё-таки «лазейки для завтра» и только нужно, чтобы кто-то их нашёл и указал другим. Насколько же лучше стала бы наша жизнь, если бы этого «кого-то» пораньше стали принимать всерьёз, поскорей ему поверили...

* * *

Как он сейчас, Дзгоев? Человек, вся жизнь которого — как тесная, каменистая тропа в горах, тесная, каменистая, но всё выше, выше. И вот, наконец, вершина...

1 августа 1962 года на торжественном открытии курорта ему, главному врачу, надели — по ритуалу — первый белый халат. Через год он защитил кандидатскую диссертацию. Конечно, о Кармадоне. И книга его вышла. О Кармадоне. Заслуженного врача РСФСР ему присвоили. За Кармадон.

Вершина?

Я вспоминаю, как однажды спросила его об этом. Он только что вошёл в кабинет (после разговора с кем-то из больных), весь в сиянии своего белого халата. Именно сиянии: на белом фоне новым оживают, ещё ярче становятся смуглое его лицо, угольные глаза. Но дело даже не в этом, не во внешности. Ещё, главное, всегда чувствуешь, что он радуется этой белизне, что до сих пор не привык к ней, что ни минуты не была она для него обычной одеждой. В общем, увидела я его вот такого, праздничного, изнутри светящегося, и спросила. Где-то в уголках его губ пробежала усмешка, а когда исчезла, у него было совсем другое лицо, вдруг осунувшееся, постаревшее...

Дзгоев сказал:

— Представьте: Кармадон использует какую-то сотую часть драгоценной воды. Остальное утекает впустую. Поймите, это же здоровье утекает.

Он пододвинул ко мне груду писем (они приходят вмаленький, ещё не указанный ни на каких картах Кармадон отовсюду):

— И все об одном: как достать путёвку? Что я им отвечу? Подождите, потерпите, пусть у вас пока не болит?

В эту минуту в дверь заглянула секретарша и вызвала Дзгоева (произошёл какой-то конфликт у медсестёр). А я осталась наедине с письмами на столе и... с «музеем». Этот «музей» самый маленький и самый однообразный по «экспонатам» из всех, которые когда-либо в жизни приходилось видеть. Свалены в углу кабинета костыли и палки... Но эти просто-костыли и просто-палки, ненужные теперь прежним владельцам, с торжеством отброшенные, оставляют впечатление острое и совсем не грустное.

Читаю белые листки (они заботливо «прибинтованы» к «экспонатам»).

Почти каждое из таких «посланий» кончается пожеланием Кармадону — расти, расширяться, принимать всё больше больных.

...Дзгоева всё нет, и я выхожу на улицу. Одноэтажные розовые домишки неприкаянно лепятся по склону. Это и есть те самые, громко именуемые «корпуса» того самого громко именуемого «курорта». Строили его без дорог (только в этом году будет закончено асфальтовое шоссе в горах!). Материалы, средства выкраивались из местных ресурсов республики, «выбивались» в Москве — всеми правдами и неправдами. И получилось: вместо запланированных 50 коек открылся санаторий на 225 мест. «Незаконнорожденный»... Со всеми вытекающими бедами. Ванны — за четыре километра от санатория, больных приходится возить автобусами. «Корпуса» — на самом деле подкрашенные деревянные бараки. Жилого дома для персонала нет.Трудно найти квалифицированных сестёр и врачей, которые согласились бы поехать за 30 километров от города, в глухие горы, где им не дадут квартиры, а заставят жить в общежитии.

Слава же о Кармадоне при всём при том разрастается.

И Урузмаг Сандрович Дзгоев, теперь уже с поддержкой всей Осетии, продолжает свою давнюю битву за Кармадон. Сейчас уже — за Большой Кармадон. В ЦНИЭПе лечебно-оздоровительных зданий уже почти закончен проект Большого Кармадона (я видела макеты, голова закружилась от великолепия белокаменных корпусов, так естественно вписанных в горы). В общем, хоть значение Кармадонских источников давно признано и самыми исцелениями тяжелобольных сотни раз передоказано, хоть вот — проект есть, а курортный отдел ВЦСПС (дававший, кстати, заказ на проект) в планы, даже далёкие, новое строительство не вносит.

«Считай недостойным сердиться»... Сколько мужества, гордости в этом «лозунге самому себе». Нет, он не устарел. Потому что хоть и вершина, а ещё не кончилась, ещё прорубается тесная, каменистая тропа в горах, и на ней — Человек...

«Комсомольская правда», 20 ноября 1966 г.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Это рассказ о человеке, для которого летать — значит жить. Судьба его — убедительное тому доказательство.

Знаю Гуго Петерса много лет. Впервые увидела его на Дальнем Востоке в Арсеньевском аэроклубе. Мне показали Гуго издали. В чёрной форменной шинели, высокий, чуть сутулясь, он шёл по белому полю аэродрома подчеркнуто прямой походкой. Смотрел в землю. Его окликнули, он засмущался, виноватая улыбка озарила его широкоскулое лицо...

С тех пор он не меняется, остаётся всё таким же застенчивым. Сколько же потребовалось сил, чтобы именно Гуго, с его «тихостью», смог преодолеть всё, что выпало ему на пути...

Впервые он увидел самолёт, когда была ещё жива мать. Он проснулся в то утро совсем рано. Мать собиралась мыть пол, и они вместе пошли за водой к колодцу. Над горами висели крупные, налившиеся за ночь полным светом звёзды. Шестилетний мальчишка, наверно, и не обратил бы на них внимания, если бы не бросилось ему в глаза, что одна звезда движется и мигает. Он закричал от неожиданности. «Глупый, — сказала мать. — Это же самолёт». Весь день Гуго вспоминал, что ему рассказывал о самолётах отец, когда ещё был дома. До ареста.

В детдоме, куда после смерти матери отдали Гуго и старшего брата Эрнста, игрушек не было. О самолётах, об учебе он почти не вспоминал, потому что всё время хотелось есть. Кончилась война, бабушка забрала его из детдома в оренбургское село Сузановка. Целую зиму он пролежал пластом и всё-таки снова стал думать о самолётах, хотя говорить об этом боялся.

Закончил семилетку. Поехал в Оренбург, выбрал техникум механизации только потому, что была при нём секция парашютистов. Но через год ее закрыли. Учёба в техникуме потеряла для него смысл. Уезжая из города, пришёл в аэроклуб: готов делать все, что угодно, только примите... Но ему отказали: туда брали с семнадцати, а Гуго было неполных шестнадцать. Посоветовали возвратиться в деревню и поступить на курсы трактористов: «Всё-таки мотором овладеешь, а через год приходи».

Через два месяца на практических занятиях Гуго Петерс попал под трактор. В районной лечебнице ему ампутировали левую ногу ниже колена.

«Сегодня над больницей пролетал самолет. Я ещё нахожусь в тяжёлом состоянии, но приподнялся и... упал. Ребята принесли «Как закалялась сталь» и «Повесть о настоящем человеке». Но ведь Островский был писателем, не лётчиком. А Маресьев и до того, как потерять ноги, был уже героем, асом. А я, кто я?»

Это строчки из его тонкой записной книжки. Он пишет далее, что пошёл учиться в школу счетоводов. Что организовал в селе первичную ячейку ДОСААФ. А работал тем временем в колхозной бухгалтерии. И вдруг — запись

о том, что у них в Сузановке свой планер! Чего стоило ему, безвестному счетоводу, добыть планер, остаётся лишь домысливать. В дневнике и в разговорах Гуго об этом молчит. Всё, что не касается авиации, и в записях его, и в жизни остаётся за скобками. Даже о том, как он овладевал протезом, как учился ходить, бегать, кататься на коньках, ездить на велосипеде, мотоцикле, рассказать толком Гуго не захотел.

В своем селе он организовал шоферские и мотоциклетные курсы, стрелковый и авиамодельный кружки. Во всех видах спорта был первым. За это, наверно, и получил планер. Но этот чудом добытый планер почти год пылится в колхозном амбаре, а из города никак не могут прислать инструктора. И наконец...

«Инструктора встретил в Покровке. С утра подготовили планер к полёту. Стоял он, широко раскинув крылья, ночью я спал под его крылом.

Как хорошо летает инструктор А. Попов! Вот он даёт команду: «Старт!» Я должен выполнить всего лишь пробежку по земле. Но что это? Меня неудержимо поднимает вверх! Замечаю, что я уже в воздухе. Сильный порыв ветра, да ещё ребята, которые натягивают амортизатор, видно, перестарались, и вместо пробежки я взлетел на семь метров!

Инструктор сказал: «Летать можешь, летать будешь!» Сегодня день моего второго рождения».

Конечно, то была почти комическая случайность: впервые сев в планер, Гуго оказался в воздухе. Но, зная всё, что будет с Петерсом потом, хочу отметить — есть в этом эпизоде и нечто символическое: Гуго настолько тянулся к небу, что и оно, небо, ответно стало притягивать его к себе.

Он летает, летает. За месяц 37 стартов. И учит летать других как инструктор. Каждая новая встреча с небом придаёт ему смелости. И он уже начинает мечтать о большом планере. Он бросает Сузановку и едет в городок Орск, где никогда не бывал раньше, но где есть аэроклуб. Он смело идёт туда, показывает грамоту ДОСААФ и щедро предлагает свои услуги инструктора-планериста. Конечно же, на общественных началах. Ему отказывают с жалостливой улыбкой.

Гуго уезжает в Челябинск. Там живет его старший брат Эрнст, его верный друг. Среди всех городов, по которым впоследствии станет бросать его судьба (а городов этих целая география: Куса, Златоуст, Сибай, Киев, Арсеньев...), Челябинск занимает особое место. Забегая вперёд, скажу, что нынче Гуго вернулся и снова живёт в Челябинске. Именно здесь он стал настоящим лётчиком. После долгих мытарств и странствий... И зачем, казалось бы, в своё время он так быстро покинул Челябинск, зачем было добра искать и ездить чуть не по всему свету? Но так случилось. И вовсе не по его вине.

Впрочем, сначала у него в Челябинске всё шло благополучно. Начальник аэроклуба был хороший человек и не стал смеяться над мечтой Петерса. Доверили ему группу курсантов — пятнадцать человек, которых он обучал летать. Обучал... на земле. Допуска к полётам у Гуго не было. Днём он работал в челябинском аэропорту (сначала кладовщиком, потом шофёром, лишь бы поближе к самолётам), а вечерами пропадал в аэроклубе. Изучил теорию так, что стали называть его «ходячей инструкцией». Его полюбили, в него поверили и однажды с ходатайством

обкома комсомола отправили в Москву: добивайся разрешения на полёты! Удивление, даже недоброжелательство встретил он у московских медиков. Один из них с гневом кричал, что Петерсу нужно оставить «свои сонные грёзы». Его не хотели даже выслушивать — слишком уж необычным был его случай. Но он каждый день пишет в свой дневник как приказ самому себе: «Решительность не покидает меня». И вот случилось (так потом много раз случалось в его судьбе), что в эту трудную пору на его пути встретился Человек.

Хирург Григорий Рувимович Грайфер, тот самый врач, который в своё время решал судьбу Маресьева, «мучил» Гуго около двух часов: заставлял приседать, ложиться, прыгать с крыльца, бегать по двору... И наконец принял необычное, единственное в своей послевоенной практике решение о допуске одноногого (ещё не лётчика!) к полётам. Я хорошо помню слова Грайфера о Гуго:

— Да, этот мальчишка напомнил мне Маресьева. Он был чертовски упрям в своём желании летать и, хотя, наверное, умирал от волнения, держался очень спокойно. Чем больше я его отговаривал, тем собраннее он становился. Так когда-то я выполнял роль «прокурора» по отношению к Маресьеву. После встречи с Маресьевым я поставил себе за правило: прежде всего обращать внимание на личность, а потом уже разбираться с физическими недостатками.

Возвратившись в Челябинск, Петерс чувствовал себя на седьмом небе, которое стало ему подвластно... Но вскоре к руководству клубом пришёл новый человек, и жизнь Петерса снова делает крутой зигзаг. Только что сдавший на пятёрки все зачёты, только что допущенный к спортив-

ным планерам, Гуго Петерс без всяких на то причин был отстранён от полётов. Это была, конечно, несправедливость. Позже она повторится с ним на Дальнем Востоке. Но не будем его жалеть.

Жизнь человека, если освящена она единой целью, похожа на восхождение к вершине. И пусть, взобравшись на какую-то высоту, человек падает, всё равно она есть, она навсегда в его жизни останется, эта высота.

Ну не повезло ему в тот раз в Челябинске! Он уезжает в Кусу в самодельный, на птичьих правах аэроклуб. Нормального планера там не было. Гуго устраивается работать шофёром, откладывая основную часть зарплаты на планер. Когда наконец этот КАИ-12 купили и думали — полетаем! — клуб закрыли. Опять неудача! Но после неё по сложившейся в жизни Гуго закономерности ему встречается Хороший Человек. Конструктор Лев Комаров зовёт Петерса в Златоуст, где при Дворце пионеров строится единственный в своём роде самолёт «Малыш». И здесь снова Гуго работает кочегаром, ночует в деревянном строеньице спасательной станции на берегу озера («Волосы к стене примерзали, ну и что же?» — смеётся)! зато по вечерам занимается с отрядом юных лётчиков. И ещё: став первым помощником Комарова, строгает, пилит, сверлит — строит тот самый самолёт, на котором ему как испытателю предстоит налетать немало часов. А потом Комарова приглашают на работу к генеральному конструктору Олегу Константиновичу Антонову, и Гуго попадает в Киев...

За все годы работы в ДОСААФ никогда, пожалуй, у него не было таких «звёздных» часов, дней и месяцев, как тогда в Киеве. Он летал самозабвенно, жадно, освоил все типы

планеров, начал изучать самолет-буксировщик Як-12. «После первого самостоятельного вылета на ЯК-12 я всю ночь не мог уснуть — лежал и улыбался». И ему разрешили пять раз («целых пять раз!») прыгнуть с парашютом! Это был предел мечты!

В Киеве он стал подумывать о поступлении в летную школу. Но сначала нужно было закончить десятилетку. И он в тридцать лет снова садится за парту, получает серебряную медаль.

Мог бы, наверно, на всю жизнь остаться в Киеве, но его друзья переезжали на Дальний Восток, и Гуго поехал туда, где был нужнее. В Арсеньевском аэроклубе впервые увидел себя в столь желанной должности штатного инструктора. Полёты стали его обычным делом.

Прошло два года. Петерс подготовил уже 107 планеристов и 115 парашютистов, совершил уже 3411 полетов. Его лётные характеристики были как хвалебные гимны, а в его медицинских листах всё время значилось: «Усталости или напряжения в полётах не испытывает». И вдруг...

Нет, никакой аварии в воздухе с Петерсом не случилось. Просто приехал в Арсеньев инструктор ЦК ДОСААФ, аэроклубовцы с гордостью рассказывали ему о Петерсе («...наш современный Маресьев»), а результат получился неожиданный. «Как это без ноги?» — возмутился инструктор. И из Москвы пришёл Петерсу запрет на все виды полётов.

...Было ослепительно яркое утро на Арсеньевском аэродроме. Гора Халаза, а по-здешнему — сопка, держала солнце прямо на макушке. В слишком голубом небе плыли три-четыре белых облачка. И это было хорошо для планеров. Сколько раз я слышала от Гуго: «Был парящий день...»

Парящий, значит, планерам (у них нет двигателя, а только крылья) будет легко парить. «Был парящий день», — произносил он с праздничной улыбкой и рассказывал, что планер скользит по воздуху бесшумно, как птица, и сам чувствуешь себя птицей. Он рассказывал всё это, пока мы шли по белому, сверкающему под солнцем аэродрому, с которого Гуго уже не имел права подниматься в воздух.

В то утро он готовил к полёту новый, элегантной конструкции «Бланик», на котором должен был лететь ученик и близкий его друг Юрий Сычев. Когда-то в Кусе, мальчишкой, Юрий пришёл в аэроклуб и благодаря Гуго пристрастился к авиации. Уходя в армию, обещал: «Где будешь ты, там буду и я». Своё решение выполнил — приехал вот за Петерсом на край света. Фотография друга висит у Сычева над кроватью, Сычев посвятил ему такие стихи:

Кто неба глотнул однажды,
Тот навсегда поймёт,
Как лётчик отчаянно жаждет
Короткой команды: «Взлёт!»

В то незабываемое утро в Арсеньевском аэропорту мне посчастливилось испытать лично на себе восторг чувств, о котором написал друг Гуго: «кто неба глотнул однажды...».

Итак, прозвучала команда «Взлёт!», Сычев сидел в первом кресле, меня с парашютом за спиной втиснули во второе. Оранжевый Як-12 помчал на буксире наш «Бланик» по брызжущему снегом аэродромному полю. Воздух начался неожиданно. Через несколько яростно летящих минут мы отцепились от буксира. И уже всюду был воздух, один толь-

ко воздух, и свободное парение, и ни с чем не сравнимое ощущение лёгкости.

Да, это было: мне разрешили прыгнуть с парашютом.

А Гуго оставался на земле.

* * *

...После опубликования первой статьи в «Комсомольской правде» он ещё пять лет оставался на земле. В ЦК ДОСААФ считали, что Петерс не должен летать, «исходя из его же собственных интересов», «руководствуясь принципами нашей гуманности»... Это с одной стороны. А с другой: «Сейчас не война. В нашей стране хватает здоровых людей...» И наконец, последний, самый возмутительный « аргумент»: «Кому будет польза, если мы выполним каприз Петерса и разрешим ему летать?»

...Любите ли вы летать? Знаете ли, что такое жажда взлёта? Это она, по легенде, звала Икара выше, выше и наконец сожгла его? Нет, всё серьёзней и проще: «Лётчик живёт в полёте, на земле он только существует». Эту мысль в разных вариациях повторяли мне люди, принимавшие участие в трудной борьбе за право Гуго Петерса на исключение. Алексей Маресьев, Марк Галлай, Олег Антонов знают Петерса лично, и не по его просьбе, а по своей потребности помогали ему как только могли.

Бывало, что борьба казалась безнадежной и даже зло брало на Гуго за его несокрушимое упрямство: в конце концов жизнь не сводится к полётам... Нет, он не соглашался ни с какими доводами.

Вспоминая сейчас все годы его мытарств, удивляюсь вновь: откуда брались силы? Да, то была борьба с неумо-

лимостью самой судьбы, и важно (для всех нас важно), что человек всё-таки победил.

И теперь думаю: а могло ли быть иначе? Понимаю, вопрос наивен. Жизненные повороты бывают самыми разными. Но всё-таки хочется верить — с детства я живу с этой верой — в справедливость жизни. Пусть человеку очень долго не везёт, пусть обстоятельства ополчаются на него, но если он мужественно сопротивляется, всей страстью души чего-то хочет, то рано или поздно добьётся.

Когда, казалось, исчезли все возможности, — вдруг открылась дверь, о которой он и думать не смел. На ней вывеска: «Министерство гражданской авиации СССР». Здесь ему снова встретился Человек. Заслуженный врач РСФСР Игорь Петрович Шинкаренко, руководивший тогда медико-санитарной службой Министерства авиации Он не стал зачитывать запрещающие инструкции, а прежде всего удивился: «Петерс стал летчиком, уже имея дефект ноги? Да ведь это небывалый случай в истории авиации! Какая же кремневая воля должна была компенсировать его физический недостаток!».

Игорь Петрович добился, чтобы Петерс (в качестве исключения) прошёл врачебную экспертизу. Результаты обследования оказались отличными. С ними предстояло идти к министру. Визит был краток. Маршал авиации Борис Павлович Бугаев уже знал о Гуго. Он деловито просмотрел документы, ознакомился с рекомендациями, спросил мнение Шинкаренко (мнение авиационного врача было близко к восхищению) — и ни в чём больше не потребовалось убеждать министра. Бугаев сам лётчик. Лётчик понял лётчика.

Челябинский аэропорт, конечно, похож на десятки других аэропортов, но, когда я прилетела сюда для новой встречи с Гуго, всё показалось мне необыкновенным. И всё потому, что ходила я по этому аэропорту рядом с Петерсом. Он — в шинели лётчика стал еще выше. Стали другими его глаза — они научились улыбаться.

Да, Гуго летает теперь в Челябинском аэропорту. Здесь он работал когда-то шофёром и безуспешно «пробивал» полёты в аэроклубе.

Ну а теперь летает на самолёте Ан-2. Обижается, если кто-то непочтительно отзовётся об «Аннушке»: «Наш трудяга устарел?! Но нет же пока ему замены! И вообще, какая разница, на чём летать!»

«Летали в Пласт — садились с подбором площадки на заснеженное поле. Потом в Бреды и Карталы. На руках, очень осторожно поднимаем больных в самолёт. На взлёте и посадке стараемся вести машину как можно плавней...

На склонах Таловского хребта разгорелся лесной пожар. Мы сбросили вымпел в лесхоз, на тушение сразу выехали рабочие. Завтра возвратимся для корректировки схемы очагов — среди гор и высоких деревьев людям внизу не охватить глазом всей картины пожара.

Сколько мечтал я о жизни такой! Летать и летать! Сегодня была первая встреча с грозой. Тяжёлое облако зацепилось за горы, путь самолёту преградил огненный клин, отворачиваем самолёт вправо и вдруг попадаем... в радугу! Чего стоит жизнь, если не увидишь такое?»

И вот, споря с собой, думаю: можно ли осуждать, жалеть, давать советы человеку, который, пусть по-непонятному для нас, но счастлив! И как это, в сущности, здорово, что

«небом единым жив человек». Здесь смысл «неба» пора уже расширить за пределы полётов. Сейчас уже веду речь не просто о жажде летать, а о жажде жить. Говорю не только о мечте и верности полётам, но и вообще о Мечте, о Верности. История Гуго Петерса хороша ещё и тем, что она — о стремлении к небу как в прямом, так и в символическом смысле.

Любите ли вы летать? Умеете ли вы в трудных случаях «держаться за облака»? В детстве каждому из нас снится сон: я лечу! Лечу свободно, как птица. Говорят, в такие моменты человек растёт.

ЗАГАДКА НАДИ РУШЕВОЙ

В юности не оставляют наследства. Московская школьница Надя Рушева оставила. Огромное: свыше 10 тысяч неповторимых рисунков. Её искусство выдержало испытание временем: более ста выставок по стране. О ней снимают фильмы, пишут книги, пьесы. А интерес к её жизни, творчеству не иссякает. Подрастают новые мальчишки и девчонки, и снова вопрос: какой она человек, Надя Рушева? Ведь она, наша современница, была похожа на нас и показала нам, на что мы сами способны.

...Давно думаю о Наде и, кажется, немало знаю о ней, но рассказать — как? Когда в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, была выставка Рушевой (долгие очереди под ноябрьскими дождями 1970 года), я не смогла написать: её искусство потрясло и показалось необъяснимым.

«Рушева — тонкий инструмент, на котором Вселенная сыграла одну из лучших своих мелодий». (Из книги отзывов.)

Позже пришла необходимость понять. Я стала часто ездить в её дом на окраине Москвы, в Царицыно. Несметные папки с её рисунками. Прикосновение к живой боли родителей. Врастание в обстановку, где всё говорит о ней. Вскоре человек — Надя стала мне слишком дорога, чтоб смотреть со стороны. И уже не для статьи, просто для души хотелось новых встреч с людьми, знавшими её. Я искала

их в разных городах... Но и сейчас не уверена, смогу ли объяснить «загадку Нади Рушевой»...

«Это мастерство взрослого художника»; «Её рисунки как бы результат завершённого творчества»; «Несравнимое явление в искусстве»; «Самая молодая из великих и самая великая из молодых» — столь восторженные слова принадлежат строгим знатокам: М. Алпатову, В. Ватагину, Е. Жукову, А. Лаптеву... И вот она уже не просто девочка, а гений и будто вознесена на пьедестал... А я вспоминаю школьный портфель... Надя собрала его в своё последнее утро, он так и стоит в её комнате, а на подоконнике растут её кактусы, и среди них, как в джунглях, «бродят» глиняные зверюшки, которых так любила Надя. Несовместимо?

Даже в длинной жизни художника трудно объяснить истоки его творчества. А тут Надя: 17 лет и 36 дней. Разве это путь человеческий? Наверное, потому статьи и фильмы так мало рассказывают о ее жизни: трудно поверить в столь раннюю духовную зрелость. Может быть, боятся рецензенты и режиссёры, что Надя-человек не «достигнет уровня» своих рисунков. Но так ли это?

Лицо с выражением светлой серьёзности, прямые чёрные волосы, короткая чёлка, забавная родинка на щеке и восточные глаза. В них бьётся и горячая тайна, и напряжённость поиска, и предощущение ответов. Глаза побеждают всё... Так на фотографиях. А в жизни она носила очки и не очень доверяла своей внешности (видно по шутливым автопортретам).

Надя похожа на мать. Наталья Дайдаловна, первая балерина Тувы, оставив сцену ради дочери, не потеряла, передала девочке не только внешность, но и характер — величавую

медлительность, затаённую пленительную экспрессию своего восточного танца. «Зачем ты разговариваешь руками, папа?» — удивлялась Надя. Она спорила с отцом о системе Станиславского — открытое выражение чувств казалось ей их умалением. Отец Нади Николай Константинович, сам себя называвший «несостоявшимся художником» (работал декоратором на Центральном телевидении, всю жизнь писал очень неплохие этюды, их выставили только после его смерти), был человек порывистый, эмоциональный, всегда чем-то увлеченный. Унаследовав от отца дар художника, Надя и характером была к нему близка. Где-то в глубине её существа, конечно же, жила и мятежная его натура. И, значит, было так: в душе всё бурлит, а внешне как мать — «спокойная, тихая». Мука? Так может быть, рисунок, кроме всего прочего, был ещё и тем единственным словом, которым она не стеснялась выражать (открыто!) свои чувства, мысли?

Слышу голос Нади (в прямом смысле слышу — включаю фонограмму одного из фильмов, что успели снять при её жизни):

«Рисовать? Просто потребность такая. Иногда охота забросить всё-всё и рисовать, рисовать, рисовать. Сколько хочешь и что хочешь... Когда начинаешь рисовать по заданию, всегда что-нибудь не так. Вообще каждая вещь, если самой не нравится, она уже... (здесь голос наполняется улыбкой, чуть медлит)... из души вон».

Она была свободной, открытой, независимой. Эта безоглядность не достаётся, как бесплатный дар, не остаётся, как случайный молочный зуб. И не правы те, кто сводит её достоинства к якобы «застывшему детству»: «Сумела сохранить непосредственность ребёнка». И это всё?

Нет, верность себе — это уже осознанное. «Надя скорее бы отказалась отвечать на уроке, чем стала бы вещать своё мнение чужими мыслями. Может быть, нежелание, невозможность пойти даже на такой маленький компромисс и есть цельность?» — вспоминают одноклассники. Однажды девочке поставили двойку за нетрадиционное толкование романа Толстого: не нравился ей князь Андрей — «желчный, себялюбивый аристократ»; героем считала Пьера. Дома взяла фломастер и стала рисовать своего Пьера, свою Наташу, Николеньку... Так она оспаривала ту несправедливую двойку. Так наивно и неожиданно началась её прекрасная серия «Война и мир», которую вскоре показывали отдельной выставкой в Музее Л. Толстого.

Да, Надя Рушева успела стать свидетелем своей славы. В одиннадцать лет — первые публикации рисунков в печати. В четырнадцать — поездка в Варшаву. Интервью, фильмы, восторги вокруг. «...Кто знает, что такое слава! Какой ценой купил он право, возможность или благодать над всем так мудро и лукаво шутить, таинственно молчать». Это Ахматова о Пушкине. А Надя тут при чём? Говорят, на открытии своей выставки в МГУ, когда её («автора! автора!») повели к сцене, она расплакалась. Некоторые считают, что от смущения, другие полагают, что девочке просто хотелось сидеть рядом с мамой, а не стоять одной на сцене. Так всё вроде бы просто.

«Она никогда не говорила о себе...» Подтверждение нахожу в её письмах к подруге. О своих успехах Надя сообщает как о чём-то, отношения к ней не имеющем. «...В Доме учёных открылась выставка, что была в Музее Л. Толстого». Ещё: «Что же ты киснешь в Ленинграде? Смело ступай в Выборгский Дворец культуры, там — выставка»

(и опять даже без слов «моя»). Работники Дома-музея Пушкина на Мойке, 12, готовившие одну из её экспозиций и несколько дней наблюдавшие Надю, не могут вспомнить ни единого произнесённого ею слова. Но легко ли было и ей «...таинственно молчать?». Замкнутость? Отчуждённость? Или просто скромность — защитная броня от шума, который был ей и чужд, и тягостен? Одно известно наверняка: слава, испытание которой не всегда выдерживают и души закаленные, ничуть не испортила девочку.

Принято думать: она творила как птица поёт. И в самом деле, когда видишь в документальном кино, как она рисует, как линия, естественная, единственная, летит из-под её фломастера, кажется, Надя всего лишь обводит свои видения, проступающие на листе, будто водяные знаки. Её талант не зависел от её усилий? Неправда! Вот ведь как у неё бывало: «С рисунками туго — кризис! Да, да. Нет той прежней уверенности, точности, все выходят изможденными, как из концлагеря>. Другое письмо: «Теперь мне 16. Произошёл какой-то перелом. Во многих вещах разочаровалась. Себя виню за слабость. Надо как-то перестроиться». Её внутренняя жизнь не могла быть безоблачной уже потому, что была глубокой.

Рост души — тяжёлый процесс. И его интенсивность зависит не только от природных данных, но главным образом от особой жажды, которую сам человек или разжигает в себе, или, устав, гасит. Не успокоиться — значит превзойти себя, значит завтра родиться заново. Неустанность движения духа — не это ли питало её столь бурно развивавшийся талант? Однажды, когда ещё был жив Николай Константинович Рушев, мы просматривали с ним

Надины тетради и встретили вот эти строчки Пастернака: «Не спи, не спи, художник!» Думаю, эту карандашную запись Надя сделала не случайно. Нет, не случайно...

Два человека, не сговариваясь, повторили мне о Наде одну и ту же фразу: «Успех выставок Рушевой ищите в этическом начале её искусства». И продолжили...

Москвичка Наталья Алексеевна Демина, основатель музея имени Андрея Рублёва, автор монографий по древней живописи: «Она рисовала не видимое, а мыслимое. Её мастерство покоряет глубоким проникновением во внутренний мир героев, но больше всего покоряет величием её собственной души. Надя вся устремлена к добру...»

Другой мой собеседник — академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, уже в Ленинграде, в Пушкинском доме, сказал далее: «Надя — хороший человек и поэтому хороший художник. Понимаете ли, это кристаллизация чистоты духа. Люди нуждаются в таком искусстве, как в глотке чистого воздуха».

И Демина и Лихачёв знали Надю с раннего детства.

Обаяние её личности... С пожелтевших страниц Надиных писем, где строчек не больше, чем рисунков, так и рвётся живая радость бытия. «Слетела сегодня с Бараньего лба (горка у нас такая), сломала лыжи, а лицо — будто кошек твисту обучали. Здорово! Бреющий полёт». «Даже послушаешь, о чём говорят малыши на улице, и улыбаешься. Так интересно». «...И когда я увидела опять эти два дома на Мойке, розовый и голубой, по колориту похожие на картину Пикассо «Девочка на шаре», так это было хорошо, что чуть не заплакала от счастья».

Ощущение жизни как чуда. Каждое мгновение драгоценно. Её рисунки — сразу набело, не пользовалась карандашом, резинкой. В жизни тоже не признавала черновиков.

Буквально страдала, когда что-то формальное отбирало время. В письмах мелькает: «А день был такой чудесный. Отвратительное сознание, что теряю его с утра». «Как глупо пропало воскресенье...» «И вот день потерян, всё куда-то за бугор завалилось...»

«Чудаки! Живут в столице, а богатствами не пользуются». Это про тех из класса, кто на приглашение пойти в музей зевают: «А что мы там не видели?» Надя всё-таки вытаскивала их на экскурсии и сама была гидом. Она выпускала «колючую» стенгазету, рисовала «возвышенные» виды скук: скука постная, скука сытая, скука задумчивая...». Участвовала в школьных КВН, оформляла вечера. «Все рисунки сама приносила, уносила. И ни единого упрёка нам, что не помогаем. Всё сделает, а потом как-то умудряется уйти в тень» — из письма Наташи Д. родителям Нади. И многие вспоминают, как потрясена была Рушева, когда один мальчишка заявил: «Плевать мне на ваш класс». Она, не представлявшая жизни без других, без друзей, и недоумевала, и жалела его.

Отвечая на вопросы известной анкеты дочерей Маркса, Надя невольно оставила весьма важное свидетельство о себе:

«Достоинство, которое вы больше всего цените в людях? — Доброта, человечность, естественность.

Ваше представление о счастье? — Дружба.

Ваше представление о несчастье? — Одиночество, т. е. нет друга».

Она потому считала самым счастливым событием своей жизни «Артек» (ездила туда как делегат Москвы), что «мы жили так светло, так весело, все вместе были как один человек». В «Артеке» встретила лучших своих друзей — Ольгу Б.

из Павлодара и Алика С. из Азербайджана. С ними и после разлуки не расставалась. «Живу твоими письмами», — признаётся она Ольге, которой была предана, в которой видела вторую половину своего «я»: «страшно трудно без тебя», «всё меряю по тебе».

Письма Алику — чуть насмешливые, просветительские: «Если до сих пор не прочитал «Мастера и Маргариту», не представляю, чем ты ещё живёшь». «Смотрел «Доживём до понедельника»?» «Отыщи где-нибудь стереозаписи, я слушала — полный эффект присутствия. Присылай твои новые стихи».

Я долго ждала, и, наконец, мне довелось встретиться с Аликом, уже Олегом, уже студентом-дипломником и лауреатом республиканского конкурса любительских фильмов. Он приехал из Азербайджана в Москву. Он оказался таким, каким представлялся мне по их с Надей переписке. Он и сейчас думает и говорит о Ней с большой буквы: «Та, которая вывела меня на дорогу». Олег мечтает снять фильм: «Там не будет ни единого слова. Представьте: суета машин, людей, мелькание улиц и вдруг наплывом — рисунки из Её «Пушкинианы», их сопровождает нежная музыка, потом снова гул, скрежет, но все умолкает, когда на экране вновь Её рисунки — торжествует Её гармония».

Голос Нади:

«Вот когда идёшь по Калининскому проспекту и так устанешь от созерцания этих огромных, давящих на тебя стеклянных и железных коробок, так приятно свернуть или вправо, или влево и пройтись по старому Арбату... Мимо всех этих домиков, особнячков. Вообще, когда ходишь вот по старым уголкам Москвы, душа блаженствует! (Здесь Надя

заразительно смеется.) Всё-таки знаешь, что люди жили когда-то в этих домах, ходили в эти церкви, сейчас мы ими любуемся просто».

Осознав себя наследницей всех духовных ценностей, что веками созидало человечество, стремилась она каждую минуту наполнить смыслом. Её планы-записи «заданий себе» о книгах, которые нужно прочесть, о местах, которые нужно увидеть, поражают сначала обширностью, потом — ещё больше — целеустремленностью отбора. Да, на неё счастливо повлияли и семья в детстве; и мудрый наставник А. Ватагин («этот седобородый старец в тюбетейке» прозорливо считал: «её не учить, а осторожно воспитывать надо. Берегите дар воображения»), много лет академик на равных дружил с девочкой; и личное знакомство с другими незаурядными людьми. Но, я уверена, никто со стороны не мог бы воспитать, «сделать её», не гори в ней самой эта жажда совершенства, эта неустанность духа.

В её столь короткой биографии (но — биографии художника) различим и ранний период: сказки Пушкина, собственные сказки, мифы Эллады; и средний: композиция «Адам и Ева», «Шекспир», «Воспоминания о Варшаве»; и, наконец, поздний: «Пушкиниана», «Матери мира»; булгаковская серия. «Я живу жизнью тех, кого рисую». Сколько же вместилось жизней в 17 лет и 36 дней! Она с лёгкостью переселялась... в «кентаврёнка». (В греческой мифологии есть только кентавры, а «кенгаврят» и «кентавриц» придумала сама Надя. Каждый мускул Надиного «кентаврёнка» излучает уверенность: нет ничего лучше, чем носиться по земле на четырёх лошадиных ногах. До сих пор, когда смотрю на это озорное, прелестное, никогда, нигде, кроме как в её ри-

сунках, не жившее существо, вижу в нём автопортрет самой маленькой Нади.) Она была и Жанной д›Арк, и лермонтовской Бэлой, и Зоей Космодемьянской. И отлетала к звёздам, как Маленький принц. И, наконец, самое удивительное из её перевоплощений: осмелилась (первая из художников) образно осмыслить «Мастера и Маргариту». Чувствовала себя одинаково свободно, изображая и бытовой, и мистический план романа. Будто не было для неё границы... Дар перевоплощения — дар щедрой души, умеющей отрешиться от себя, вместить целый мир, а в нём — чужую боль и чужую радость. Рисунки Нади «работами» не назовёшь, скорее страницы прекрасного дневника. Пронзительная откровенность, лаконизм, одухотворенность — нерв современности. Но нелепо пытаться переложить этот дневник на язык слов. Их нужно видеть, их хочется долго рассматривать.

«Делаю рисунки для себя, а не для кого-нибудь», — считала Надя. Было бы странно, если бы школьница рисовала с мыслью осчастливить человечество. Итак, искусство — исповедь. Но почему же тогда узнаёшь в её импровизациях своё заветное, будто смотришься в волшебное зеркало, где твои подспудные мысли, чувства обрели отчётливость и завершённость? Может быть, потому, что она был такой, какой и нам хотелось бы быть? «Она, наша современница, показала нам, на что мы способны». (Из письма в редакцию.) Обогнав многих из нас, она, «адвокат юности», как назвал Н. Рушеву Д. С. Лихачёв, разрушила миф о том, что зрелость духа — достояние лишь зрелого возраста.

И снова вижу заснеженный сад Лицея. Здесь бродил когда-то Пушкин. А теперь здесь операторы «мучают»

Надю — фильм! Но вот они замешкались, отвернулись. Свободна! Надя рассеянно подняла прутик, наклонилась, мгновение — и на сугробах возникают профили Пушкина, Дельвига, Кюхли, разлетаются гусиные перья, чернильницы, лиры. Её автограф на снегу. Последний. Через три дня Нади не стало. (Она умерла внезапно от разрыва аневризмы мозга — это врождённая болезнь, о существовании которой у Нади не подозревали врачи.) Ещё не успел стаять тот снег...

Её голос:

«И вот мне приснился сон, будто проходит наша классная уборка. Вёдра, мыло, тряпки. И всё это — на лестнице Гигантов, что во Флоренции. Но почему-то наверху вместо гигантов стоит микельанджеловский Давид. Нас это, конечно, нисколечко не поражает. А Давид хоть и выглядит мраморным, но весь он — из козинака. Вот мы с него пыль счищаем, а сами его тихонечко... грызём. А я забралась по стремянке к самой его голове. Какое-то чувство шальное взялось. И — раз, положила ему палец в рот. А он меня... укусил. (Надя весело смеётся.) Да, да, Давид укусил меня!..»

Академик А. А. Сидоров воскликнул, узнав о её внезапной смерти: «Она сгорела на костре своего искусства!»

Но как же, как объяснить «загадку Нади Рушевой»?.. Многие ещё будут писать и думать о ней. Это — как прикасаться к живому солнечному лучу! Я тоже не могу прервать воображаемый разговор с девочкой — брожу ли по Арбату, приезжаю ли в Ленинград, иду ли в Третьяковскую галерею, в Эрмитаж — она рядом. И жизнь, которую она так восторженно любила, становится ещё желанней от её невидимого присутствия.

УРОКИ ОПТИМИЗМА

Однажды в редакцию пришло такое письмо:

«Здравствуйте! Я уверен, что подобные письма вы получаете не часто, ибо пишет Вам человек, который не видит смысла жизни. Мне двадцать лет, и я совершенно не понимаю: зачем жить, когда знаешь, что жизнь — всего лишь игра со смертью, в которой ты обязательно будешь побеждён?

Большинство людей на вопрос: «Зачем вы живёте?» — отвечают: «Ради своих детей». В детях, мол, наше бессмертие. Но человек не животное, а значит, у него должна быть какая-то другая, более высокая цель жизни. Какая?

...Мне становится страшно оттого, что так утилитарен, оказывается, смысл жизни. Говорят: человек живёт для счастья. А для чего счастье, для чего? Ведь счастливым при благоприятных условиях может быть и животное... Только не подумайте, что я идеалист или верю в загробную жизнь. Нет и нет, я верю только в развитие материи. Но ведь по законам диалектики всё, что появилось (а раньше не было), должно когда-то исчезнуть. В мире нет ничего вечного, кроме самой материи. Исчезают планеты, галактики, исчезнет когда-нибудь наша Земля... Понимаете, умрём не только я и Вы, он и она, а исчезнет всё, всё человечество! Так зачем всё, зачем?

А. Н. Китаев».

На конверте стоял московский штемпель. Фамилия оказалась вымышленной. Невозможно отыскать автора,

поговорить, остаётся только гадать: что за письмом? Минутное настроение? Поза? Но если письмо искреннее, как же можно в 20 лет впасть в такое отчаяние? Впрочем, в наивном послании поставлен вопрос вопросов, который испокон веков мучает человечество: зачем жить, если всё равно умрёшь?

Сколько сожжено свечей и истрачено чернил и пролито крови, чтобы оспорить эту горькую тройную формулу быстротечности бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность. А. Н. напрасно считает себя редким исключением. Большинство людей, как и он, задумывается над «страшными вопросами». И живут дальше. Ощущение краткости жизни усиливает любовь к ней, заставляет бережней относиться к каждому наступающему дню: ведь он незаменим и неповторим. Каждый! Спеши согреть человека — может статься, ты его видишь в последний раз.

Да, больно сознавать, что человек смертен. Но, если бы вдруг нашему А. Н. была предоставлена возможность изменить не нравящийся ему порядок вещей, что бы он сделал? Остановил жизнь? Приказал траве не расти, а то вырастет — пожелтеет? Беспомощность попытки остановить жизнь доказана еще гётевским Фаустом...

Я часто слышала от разных людей: смысл жизни — сама жизнь. Здесь заключена немалая мудрость, но человек без опыта, человек с жаждой скорых и однозначных ответов мудрости этой не услышит. И это не вина, а беда, конечно.

* * *

Когда я прочитала письмо А.Н., сразу подумала о моей Ирине Триус. Вот бы с кем этого юношу познакомить.

Лично я не знаю человека, которому жизнь давалась бы труднее, чем Ирине. И не знаю человека, который любил бы ее так неистово, как она.

Встретились мы с Ириной давно, лет семнадцать назад. Я пришла в её дом вблизи Пушкинской площади как корреспондент газеты, но очень скоро Ира стала мне другом. Собственно, именно тогда (благодаря ей) я впервые всерьёз задумалась об этом вечном вопросе. Её судьба, вернее, её сопротивление судьбе, стало для меня самым неопровержимым аргументом в защиту столь высокого и прекрасного понятия.

...Помню, когда впервые шла к ней, был дождь, а я нарочно замедляла шаги. Потом, в коридоре, вместе с каплями влаги хотелось стряхнуть неуместную очевидность своего здоровья. Вот сейчас войду, а она будет лежать, пройдусь по её комнате, а она не встанет: «прикована к постели» — кто-то когда-то так образно выразился, но эти слова стали термином, в них безжалостная точность! Прикована... И вдруг услышала смех. То был смех-искренность. Смех — состояние души. То был её смех.

В прошедшие с тех пор годы мне приходилось видеть Ирину разной, но, как бы жестоко ни испытывала её жизнь, она остаётся всё та же, как в первую встречу, — очарованная душа. Очарованная жизнью душа.

Движение, движение, движение... Мчаться так, чтоб в ушах — свист, и не просто ветра, а всего, что проносится мимо. Пусть шумят навстречу сосны, облака и горы, приветствуя скорость поезда! И поезд ведёт она, девчонка, стоящая в кабине паровоза, ей на эти часы доверена жизнь сотен людей!

Так было. На Северном Кавказе, в дни студенческой практики она водила поезда и вот тогда с какой-то яростью полюбила движение. Впрочем, готова была к этому с детских пор.

«Всё спешу охватить, побольше видеть, слышать, знать. Мне хочется жить так, чтобы каждый час, даже каждая секунда оставляла след», — писала Ира-школьница подруге. Она действительно спешила жить. Первой среди сверстников вступила в комсомол, а потом — в партию. В шестнадцать лет стала студенткой. Она спешила жить и за брата Мишу.

У многих взрослых воспоминания о детстве связаны с бабушкиными сказками. Ну, а она помнит сказки, рассказанные Мишей. Старший брат ушёл воевать с пятого курса Менделеевского института и погиб в первый год войны. У этого студента уже было своё, утверждённое Министерством здравоохранения открытие — оригинальный способ изготовления отечественного фуксина. Дом всегда был полон друзей. Ирина слышала: «Наш век — это техника, строительство. Каждый порядочный человек обязан быть инженером». Ему никогда не стать инженером. Значит, место брата должна занять она, и как можно скорее. Ира училась тогда в 8-м классе. Программу за 9-й и 10-й сдала экстерном, всё на «отлично». И в том же 1943-м стала студенткой эвакуированного в Томск Московского института инженеров транспорта.

Необычная эта учеба — студенческие годы в войну. Утром — лекции, вечером и ночью — дежурство в госпитале. А иногда целый день — работа с лопатой

в руках. Строили Томскую окружную дорогу, она была очень нужна городу. Чего там ни испытали! Бывало, в ботинках такая же холодная, чавкающая слякоть, что и под ними. Насквозь промокла телогрейка. Одна за другой выбывают девушки, но Ирине нельзя уставать — она бригадир. Простудившись, она не уходила. Тяжело болела, но работала: долг! Дорога была проложена, по ней побежали поезда. Движение! Но для Ирины та дорога стала началом ее неподвижности. Она закончит институт, два года ещё поработает в депо, но именно с той простуды на стройке для неё загорелся красный светофор: покой. Болезнь Павки Корчагина тоже началась, как известно, на строительстве узкоколейки. Какие роковые совпадения сочиняет порой жизнь!

Страшно сказать: Ирина Триус прикована к постели уже 30 лет. Сначала она жила надеждой на выздоровление. Две сложнейшие и безрезультатные операции на позвоночнике, консультации у всех возможных светил, десятки поставленных и отвергнутых диагнозов постепенно разрушали надежду. Её болезнь относится к числу тех, перед которыми сегодня медицина бессильна — эта суровая правда входила в сознание постепенно, но попробуйте хоть на минуту представить, каково смириться с такой правдой! Каково жить, постоянно испытывая боль в спине! А с годами стали появляться всё новые очаги боли. Нет, мы, здоровые, не в силах себе представить, сколь уязвим, оказывается, человеческий организм, сколь неисчислимо много мишеней у болезни!

Невозможно со стороны представить, понять, где берёт она силы любить такую, казалось бы, невыносимую жизнь.

Но в том-то и дело, что в человеке (вот его главное отличие от всех живых существ!), кроме жизни тела, есть ещё жизнь духа! Можно ли привыкнуть к боли? Не знаю. Но то, что можно научиться превозмогать боль, знаю по Ирине.

Я потому так долго не решалась говорить о ней, что со стороны объяснить её жизнь трудно. Но через три года вот что случилось: Ирина сама написала о себе. Её первая книга «Спасибо вам, люди!» было одной из тех исповедей, которые просто не могут остаться ненаписанными — так невозможно удержаться и не выразить каким-то способом благодарность, переполняющую твоё сердце. Ей, действительно, повезло на людей. На прекрасных родителей. На верных друзей. На совершенно незнакомых людей, которые, узнавая её случайно, становились близкими.

Вторая книга называется: «Жить стоит». Она была удостоена премии Н. Островского. В 1978 году ее переиздали — большой на неё спрос. И вот я вновь перечитываю уже знакомые страницы.

Многие места её исповеди, пожалуй, если не ответ, то близки к ответу на извечный вопрос о смысле жизни. Я думаю, ее можно давать самым отчаявшимся. Теперь тайну этого поразительного оптимизма читатель может узнать, так сказать, из первых рук. Мне остаётся лишь прокомментировать некоторые, на мой взгляд, важные открытия. Но как просты они, как обыкновенны! Да, книга повторяет знакомые истины, но выстраданные автором наедине с собой, наедине с судьбой, они звучат откровением:

«Мы с ученической скамьи усваиваем, что труд создал человека. И не задумываемся над этим особенно. Мне пришлось испытать на себе, как труд, именно труд, способен буквально вернуть к жизни».

Не вставая с опостылевших досок-«постели», она закончила второй институт, изучила пять языков, а потом, имея два диплома — инженера и экономиста, с помощью поверивших в неё людей добилась, в общем-то, в её положении невероятного: штатной работы. Все годы, которые я её знаю, Ирина весьма успешно работает научным сотрудником ЦНИИ информации Министерства путей сообщения СССР. (Друзья привозят ей работу на дом, потом увозят; качество сделанного всегда оправдывает эти сложности.) Ирина удостоена звания «Почётный железнодорожник». Награждена орденом «Знак Почёта». Недавно её приняли в Союз писателей. Но главная её победа совсем не в том, что «осталась в строю, несмотря на...» Этим она всего лишь уравняла себя с другими людьми. В том-то и дело, что сумела она пойти дальше других. Нет, говорю сейчас не просто о её знании пяти языков, о её дипломах об окончании двух институтов. Можно достичь и большего, но остаться сумрачным человеком. А как сохранить такую вот внутреннюю счастливость?

«Было страшно, что стану одним из тех скептиков, которых я так ненавидела: «Хорошие люди? Да где вы их видели, хороших людей! Друзья? Нет на свете настоящих друзей! Любовь? Не бывает любви, она только в книжках...» Я испугалась и заставила себя оглянуться вокруг».

Оглянуться вокруг — значит увидеть, совсем как впервые, ну хотя бы свою, сотни раз хоженную улицу. Почувствовать,

что и камни, и машины, и пешеходы, то есть вся окружающая жизнь, какой-то частью принадлежит тебе, как и ты — ей.

Улица недоступна. Неба не видно. Белый потолок палаты, белые простыни. А те, кто рядом — бывшие пешеходы, — тоже, как и она, застыли в неподвижности. И всё же, заставив себя оглянуться, Ирина увидела: её соседку по палате, молодую обречённую женщину, так сильно любит муж, что это чувство врачует лучше всех лекарств. Она пишет: «Чужая любовь спасла и меня». А было это, между прочим, в ту пору, когда саму Ирину оставил человек, годы называвший её единственной». Он просто устал ждать. Нет, она его не судит.

«Жизнь сделала меня мудрой. Теперь, когда нет надежды на исцеление, я перестала считать, чего в моей жизни нет. Считаю то, что в ней есть».

В одну из зим школьники, давние её друзья, пригласили Ирину... в лес, в турлагерь. «Чепуха какая-то», — было первой моей мыслью, когда Ирина сообщила об этом приглашении. Её пугали врачи, отговаривали близкие, и всё это, конечно, из любви к ней. Но ещё, пожалуй, и от несостоятельности понять ее до конца. Всем нам хотелось уберечь Ирину от мстительной болезни. А получалось — и от жизни мы пытались её уберечь. Позже я столько раз поражалась: если выпадает ей хоть малый шанс полнее глотнуть жизнь — идёт на любой риск, не думая о неизбежной расплате. Плохое приходит само, выбирать мы вольны только хорошее: «Так стоит ли думать о цене?» — рассуждает она.

После «туристской» недели Ира месяц не могла оторвать голову от подушки. Но в книге об этом ни слова. Пишет о другом:

«...Я или не знала до сих пор, или успела забыть, что снег так удивительно пахнет.

...Пою я хоть и плохо, но громко, не стесняясь, как не пела уже давно.

...Так в мою жизнь вошли дети. Не мною рождённые, не мною взращённые, а всё-таки мои! Ибо теперь-то уж в каждом из них живёт частица моей души».

Я как-то спросила: «Ира, сколько ж у вас детей?» Она ответила сначала горьким молчанием, потом встрепенулась: «Да, да, конечно, Игорь Демьянов мне сын».— «А Миша?» — «Да».— «А Маритэ? Алёша?..» И она уже сама вспоминает многих, кто говорит и пишет ей «мама»...

Трудно постичь, как один человек в силах сделать столько добра, вместить в свою жизнь столько судеб. После каждой статьи, её или о ней, кровать заносит метелью писем. Когда был жив отец — второе «Я» Ирины, её второе дыхание, — она успевала отвечать каждому. Да разве дело только в ответах? Пользуясь лишь бумагой, ручкой и ещё телефоном старомодного образца (со специальным звукоусилителем), она помогает в таких житейских делах, какие не удаются порой даже организациям. Как же так?

«По долгу человек способен сделать для другого всё, что он может. Когда же чувство долга совмещается с умением страдать за того, кто страдает, человек делает больше возможного».

Это написано не о себе, но это и есть объяснение её — да! — могущества. Пожалуй, это точное слово. Но всё-таки зачем ей при её-то несчастье, при загруженности работой, зачем взваливать на себя хлопоты о каких-то далёких, незнакомых? Зачем, например, пять лет

переписывалась с одним заключённым, в которого поверила, и добилась-таки пересмотра его дела. Зачем? Если я скажу: «Необходимо для полноты счастья», — иной читатель не поверит. Ну, что ж, вот вроде бы неожиданный пример в доказательство.

Как-то в разговоре с народным артистом СССР М. И. Жаровым я услышала: «А знаете, у меня есть прекрасные письма для «Комсомолки». И рассказал «потрясающую биографию» автора писем, а затем эпизод: перед премьерой он, народный артист, нервничал и, чтоб как-то себя успокоить, позвонил тому своему корреспонденту. «И, представьте, её смех помог мне войти в роль». Речь, оказалось, шла о моей Ирине... Позже, когда она сама рассказывала об этом знакомстве, восхищаясь игрой Жарова, я думала: для Ирины понятие «чужая радость» не существует, так же, как «чужая боль».

А однажды был день, когда я увидела чудо: Ирина вела электровоз! Двадцать два года спустя она решилась приехать в родное депо «Москва-1», где многие люди помнят её молодой. Лёжа в «Москвиче», она объехала почти все цехи, и всюду были рельсы, гудки — звали... Люди, знавшие Ирину, сами догадались о заветном желании, про которое она· боялась заикнуться. Итак, «Москвич» въехал на платформу, Ирину как-то подняли, и она оказалась в кабине электровоза, и вот...

Снизу не видно, она или стоящий рядом парторг нажимает рычаги и кнопки. Но когда состав тронулся и прошёл символические 30 метров до «мачты» и столько же обратно, у многих стоявших на земле дрожали губы. И ни у кого не было сомнений: да, это она сама, как прежде,

ведёт поезд. Путейцы молчали, провожая и встречая этот короткий рейс.

Потом я видела, как Ирину засыпали букетами, подарками и благодарили. Я думала: правильно благодарят. Все мы, достающие для неё лекарства, приносящие цветы и книги, а порой, когда ей особенно трудно, просто молча сидящие рядом, — все мы в долгу перед нею. За то, что она нужнее нам, чем мы ей. За то, что к ней приходишь за уроками оптимизма.

Откуда в ней эта притягательность? Может быть, болезнь, многое отнявшая, дала взамен такое, что мы, здоровые, в суете теряем? А может, столь острое ощущение бытия доступно лишь тому, кто берёт жизнь с бою? Нет, это обидная теория, да и неверная: ведь не существует пропасти между больными и здоровыми. При абсолютной несхожести судеб все мы, люди, имеем общие ценности в жизни.

«Я по-прежнему верю, что счастье человека — в нём самом. И зависит не оттого, как складывается судьба, а прежде всего оттого, что представляет собой человек и его внутренний мир».

Эту простую истину, что жить стоит даже тогда, когда она становится невыносимой, Ирина доказывает себе и нам каждым своим днём.

Сегодняшние размышления о быстротечности бытия и неизменности смысла жизни

(Из дневниковых записей автора)

...В новогоднюю ночь, когда куранты чеканно возводят границу между Минувшим и Будущим, будто въявь слышишь: вот идёт Время. И, кажется, даже видишь: секунды — алмазные горошины — сыплются в вечность. Но что толку вздыхать: ах, невозвратны мгновенья нашей жизни! Ведь известно, что жизнь измеряется не количеством лет, а качеством дней.

Как жаль, что мы постоянно думаем о часах («Сколько там натикало? Ой, не опоздать бы...») и так редко вспоминаем о времени. Время бестелесно, молчаливо, о нём забываешь, как о воздухе, которым дышишь. Трудно в обыденности разъять суть и суету, и разве в спешке упомнишь, что нельзя вступить дважды в один и тот же поток?

Существует прекрасное поверье о Новом годе: как встретишь его, так и весь год проживёшь. В детстве мама просила: постарайся в первый день года сделать что-то хорошее для людей. В детстве мы умеем всему удивляться, успеваем за один день открыть мир заново. Мне всё чаще думается, что полноценность бытия зависит оттого,

умеет ли человек в полную силу души переживать самый обычный, идущий вот сейчас день.

...«Люди! Вы говорите: проходит время — это вы проходите!»

Мечтать о будущем (оно далеко) или вспоминать о прошедшем (оно известно) проще, чем разглядеть бегущую секунду, чем извлечь в немедленное пользование то драгоценное, что таит в себе каждое прикосновение Жизни.

«Жизнь долга, если она полна... Будем измерять её поступками, а не временем», — советует из глубины веков Сенека. Древние, как известно, не знали теории относительности, они считали время величиной абсолютной. Время, но не жизнь.

Да, мгновение человеческой жизни — коварный сосуд, он может стать бездонно глубоким, если нагрузить его весомостью мысли, полнотой чувства, нетерпением действия, а может так сжаться от пустоты, будто его и не было вовсе.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ПОЛЮС?

Совсем недавно это казалось фантастикой: достичь Северного полюса пешком! Но вот семеро парней без нарт, без собак, а просто на лыжах прошли 1500 километров по дрейфующим льдам океана к магической точке Земли. Познакомившись с ними лично, я впервые пожалела, что никогда всерьёз не занималась спортом. Никогда не думала, что степень духовности может зависеть от физической закалки. Впрочем, когда кто-то называет их поход «блестящим спортивным рекордом», они немного обижаются: да разве в том суть? Мечта, идея, страсть, «насыщенный ритм нашей жизни...» — вот главное!

Своё право на полюс они доказывали десять лет рискованными « путешествиями»: 1971-й — Северная Земля, 1972-й — на лыжах через пролив Лонга (там самый активный в Арктике дрейф льдов), потом поход на СП-23 (опять по дрейфующим льдам). Походы по Таймыру — искали следы исчезнувшей экспедиции Русанова, искали (и нашли!) склады экспедиции Толя.

Участие в экспедиции — это не просто походы. Походы — праздник, а жизнь состоит из будней. Три раза в неделю, в любое время года (конечно, после работы) — изматывающие тренировки. Участие в экспедиции лишает их возможности пойти с женой в театр, лишний час погулять с ребёнком (у них семерых 11 детей), полностью отдаться

своей работе — а у каждого любимая работа (физики, математики, инженеры, врач). Да, уже защищено ими четыре кандидатских, но могли бы, наверно, быть и докторские.

Лишает, мешает, забирает... Но раз человек идёт на жертвы, значит, получает он щедрую отдачу.

В Черском, где мы их встречали (это был первый день возвращения экспедиции на землю) выглядели они жутковато — почерневшие, с облезающей кожей лица, будто вырвались из пожара. Но были они при этом не просто счастливыми — ошалевшими от счастья! После ужина, после бани (впервые за 76 ледовых дней!) спать должны бы как убитые. Но не уснули. В холле общежития лётчиков, за столом, накрытым какими-то консервами и печеньем (бутылки тоже стояли, и рюмки наливались, но как-то неактивно), всю ночь шли самые главные, самые интересные разговоры. «Я только сейчас, кажется, до конца понял, что такое счастье», — блаженно улыбаясь, говорил за тем столом не склонный к сантиментам Дмитрий Шпаро. Потом подняли тост: «За тех, кто до нас побывал на полюсе!» Кто-то тихо возразил: «За тех, кто не дошёл до полюса».— «Значит, за неудачников?» — «Нансен, по-твоему, неудачник?» И продолжился их «палаточный» спор о том, что важнее — сама цель или упрямое стремление к цели? И был это яростный спор единомышленников, каждый из которых — своеобразная личность. И не о походах спорили, а, скорее, о смысле самой жизни. И к утру все согласились: жить нужно так, чтобы были напряжены все мускулы души, чтобы чувствовать — ты не существуешь, а живёшь! О них шумела пресса: «подвиг», «совершили невероятное»... А они просто радуются: «нам повезло!»

Потом мне будет доверен дневник, который в короткие минуты привалов писал карандашом Анатолий Мельников, и там на последней странице среди деловых записей я натолкнусь на расшифровку кодов их радиосвязи с землей:

«601 — болезнь, несчастный случай, требующий эвакуации;

702 — кто-то потерялся;

901 — гибель участника.

Кодам присвоены номера, чтобы не вызывать паники в эфире, если с ними случится несчастье.

Несчастье могло случиться в любую минуту, но экспедиция прошла на редкость удачно — даже ногу никто не подвернул. Ну, ломали и топили в воде лыжи. Пять раз за поход. Ну, были «ледяные купания». Четыре раза. Об этом рассказывают с юмором. Установка на юмор — их неписаный закон.

Потом, в Москве, я слышала от скептиков: да что им, собственно, грозило? У них радиосвязь, слушает весь мир. Если что, прилетит самолёт. Я сказала об этом Мельникову. Он добродушно усмехнулся: «Что ж... Если бы погода была летная, если бы радиосвязь не отказала, то самолёт, конечно, прилетел бы быстро. Ну, часов через восемь-десять... Но за это время... А вот представь, страх, что можешь погибнуть, там почему-то отсутствовал. Правда, однажды после очередного «купания» был у нас палаточный разговор: если кто-то погибнет, то задача остальных — в память товарища дойти, закончить дело».— «Жестоко звучит, будто поход был вам дороже чьей-то жизни?» Он невозмутимо отвечает: «Во-первых, не «чьей-то», а моей

собственной — каждый ведь представил на месте погибшего себя. Но, честно сказать, был это умозрительный разговор. Любим-то мы не сами походы, а жизнь. Просто её в походе особенно остро чувствуешь».

... А представим себе это воочию: кто-то из них упал в ледяную воду (ведь не раз это было!), упал в одежде, с тяжёлым рюкзаком. Ему помогли выбраться. Куда? Опять же на лёд. Обсушиться негде. Нужно ещё искать место, где поставить палатку, нужно разжечь примус. Много ли тепла от примуса? А морозы доходили до минус 42, а ветер дул до 20 метров в секунду. И ни один из них каким-то чудом не простудился.

Однажды в Москве — мы входили как раз в метро — Мельников замешкался у разменных автоматов и, будто извиняясь, объяснил: «Ищешь, ищешь пятак, а вынул руку из кармана — монету, оказывается, давно держишь». Я не поняла: «Ну и что?» «А то, что пальцы отмороженные пока что слепые».

... «Случались ли у вас конфликты?» — этот вопрос задавали им в Арктике и в Москве. Они отвечали неизменно: «Ссоры из-за ерунды бывали, конфликты — ни разу». Но мы все наслышаны о проблеме психологической несовместимости, о трудностях жизни замкнутого коллектива. Может быть, они что-то скрывают?

Неужели ссорились только из-за выбора дороги? Неужели не злились, к примеру, на того, кто провалился в воду, утопил лыжу? Это ж лишняя остановка, хлопоты. «Злились? Мы просто облегчали пострадавшему рюкзак и устанавливали очередь, кто и когда идёт с этим рюкзаком без лыж. За что злиться? На кого злиться? Если случалось ЧП, оно случалось не с «ним», а с «нами».

Здесь я хочу вспомнить ещё один тост, прозвучавший при их встрече в Черском: «Так выпьем же за борьбу и единство противоположностей в нашей экспедиции!»

Имеет ли отношение их поход и вообще вся работа в экспедиции к идее самосовершенствования? Над этим моим вопросом сначала иронизировали, потом всерьёз согласились: «Что ж, приходится, конечно, каждому много работать над собой. А в походах, знаешь, мы взаимосовершенствуемся!»

В группе встречавших их на полюсе (нас закинули туда вертолетом) был Андрей Вознесенский, запомнились строки его родившегося с ходу стихотворения:

«Наверно, полюс собирает в фокус
всё абсолютное в тебе...»

Зачем человеку полюс? Как-то прагматично звучит этот вопрос. Их ледовая эпопея чем-то похожа на любовь. Совершённое ими действие заключает в себе такую внутреннюю красоту и не-до-конца-объяснимость, что мне, пока летала с ними на самолётах, вертолётах, ездила на вездеходах, слушала их рассказы в дружеском кругу и в битком набитых залах (пять незабываемых дней в Арктике!), настойчиво приходило в голову это сравнение: да, похоже на любовь... Высотой переживания.

«Они шли к полюсу не для того, чтоб испытать себя (это было сделано неоднократно в других, кстати, не менее трудных походах). Шли для того, чтоб дойти. Чтоб испытать сильнейшие из доступных человеку чувств. Среди прочих

результатов экспедиции это достижение тоже имеет реальную цену. И не только для них самих.

И если вдуматься, то их столь необычная цель — достичь полюса истоком имела понятное, свойственное каждому человеку желание жить по высшему счёту («на полной амплитуде», как говорят они, люди математического мышления). «Я всегда боялся, что не успею сделать то, что могу сделать», — не помню, кто из них мне это сказал.

Зачем человеку полюс? Зачем человеку звёзды? Почему человек, как заметил Михаил Светлов, «может жить без необходимого, но не может — без «лишнего»? Да потому, что он, ты и я имеем высокое предназначение на земле! Человек! Такого, как ты, никогда не было и не будет. Реализуй же «своё небывалое»! Ты за этим на свет родился.

* * *

ОТЕЦ

Возможно, когда-нибудь из XXI века история Хамита Саматова будет казаться неправдоподобной, люди будут удивляться и спорить: да бывает ли такая доброта на свете? Сейчас, пока Хамит вместе с нами живет на земле, надо спешить познакомить с ним как можно больше читателей.

Рай в пустыне

В письмах из Каттакургана часто поминалось про дачу: «Строим дачу... Отец пропадает на даче... Отец и мать переселились на дачу...» И мне представлялся издали оазис у звонкого арыка, в тени высоких деревьев, где можно укрыться от изнуряющей летней жары, когда люди и животные не знают, куда себя деть. Но вот, миновав указатель: «Каттакурган», машина сворачивает за бензоколонку и начинает взбираться по колдобинам на какой-то белый холм, слева — хлопковые поля, справа — незаконченные глиняные домишки, плетни из хвороста. Пейзаж напоминает кадры из фильма «Белое солнце пустыни». Ничего себе дачная местность. «Ну, конечно, что и требовалось доказать, — горько думаю я, — какая может быть у Хамита дача?»

Но вот машина остановилась у высокого беленого забора, распахнулись резные деревянные ворота — и вдруг мы очутились в просторном, ухоженном дворе с добротным домом, с огородом, буйная зелень которого обрамлена асфальтовыми дорожками, и даже деревья растут, правда, молодые, тоненькие, но уже плодоносящие — яблоки висят на ветках крупные, румяные, и ручеек по двору протекает — свой арык. Такая вдруг неожиданность: зажиточным человеком стал мой Хамит. (Что стал он за те годы, пока мы не виделись, знаменитым, я знала.)

Ну, а внешне почти не изменился. Зубы себе так и не вставил. Костюм новый не купил. Постарел немного, а важности не прибавилось ни на грамм. В общем, с виду он самый обычный старик в выгоревшей, долго ношенной тюбетейке.

Семь лет назад я уже писала об этом человеке. Тогда Хамит Саматов даже в своем родном Каттакургане был мало известен. Слава Хамита, можно сказать, разрасталась у меня на глазах. Каждую новую статью о себе он исправно присылал в конверте, без комментариев. А еще каждую весну присылал посылку чеснока со своего огорода, тоже без комментариев. Восемь килограммов чеснока — представляете? Я раздавала чеснок в редакции, навязывала друзьям и знакомым, умоляла Хамита никогда больше ничего подобного не делать. Но наступала другая весна, и молодой среднеазиатский чеснок прибывал в редакцию снова. Тут есть свое объяснение, правда, очень личное, но я все-таки решусь рассказать — это будет та малая капля, в которой отражается, по-моему, мир души Хамита.

Так вот, незадолго до того, как я к нему впервые приехала, у меня умер отец. В ответ на откровенные рассказы Хамита

обо всем пережитом я не могла не рассказать о своем горе. Он горячо сочувствовал, а на прощанье сказал: хочу я того или не хочу, но он решил для себя, что буду я теперь его приемной дочерью. У него много детей в разных городах живут, пусть будет теперь и в Москве. Я не знала, как реагировать. Да и неважно, что думала я, неважно — скептически или одобряюще улыбнетесь вы, читатель, такой наивности Хамита, но в ней проявилась его духовная сущность: он — отец, понимает свою роль на земле так, будто он — всем людям отец.

Ну а посылка с чесноком... Одной больше, одной меньше. Всем своим детям Хамит старается помогать, как может, как считает нужным. В этом видит радостный отцовский долг. Можно ли отнимать у человека радость?

Заметив, что разглядываю его владения, сообщает: в хозяйстве имеется теперь корова, есть 70 ульев на двоих с братом. «И-и-эх, хорошо живем!» Он такой же, как был — громогласный. И присказка эта его мне знакома, только сейчас в ней появилось больше смысла. «Счастливый ты человек, Хамит, — это он сам себе говорит. — Раньше смерти ты в рай попал». «И, правда, рай. Проживем три дня в раю», — радуется мой коллега, фотокорреспондент Владимир Богданов, с которым мы совсем недавно мерзли под непроглядным московским дождиком (полетит самолет — не полетит?), а теперь вот сидим за длинным столом посреди Хамитова двора прямо под синим небом. На столе — вся щедрость среднеазиатской осени. Кажется, все краски, которые может изобрести природа, все вкусы и ароматы, сгустившись, созрев, обретя плоть и форму, лежат сейчас па столе, предлагаются...

— Ешь дыню, товарищ Володя, — особенно настойчиво Хамит угощает нового гостя. — Эта дыня прямо здесь, под ногами выросла. Почему мало берешь? Витамин надо много есть. Мне врачи запретили: сахар, говорят, у тебя в крови. А я, знаешь, раньше во-о-т такую дыню мог один съесть, еще два кило помидор, три тарелки плова — мой обед, пожалуйста. Был большой, как верблюд. Выносливый, как верблюд. Когда с фронта пришел, в госпитале откормили — сто кило имел...

Володя смеется. Хамит еще что-то ему рассказывает. Я не слышу. Я вижу, что этот ломящийся от яств стол медленно отплывает, растворяется в голубом пространстве, а само пространство начинает постепенно тускнеть, как бы обугливаясь по краям, и ясный день оборачивается вдруг ночью.

...Темной февральской ночью 44-го недовоевавший солдат Саматов возвратился в родной Каттакурган, спрыгнул с поезда, сделал несколько шагов по перрону и услышал тоненький голос: «Дяинька, дай...» Не поверил своим ушам — наверное, кошка. Пошел дальше. Но тут кто-то схватил его за полу шинели: «Дяинька, хлеба дай!» У ног солдата на запорошенном снегом перроне стояло босое, раздетое, от худобы почти прозрачное человеческое существо — маленький скелет, да и только. «...Хлеба!» Солдат подхватил ребенка одной рукой (другая после ранения висела плетью), закутал в шинель и быстро, как только мог, пошел домой.

Такие вот воспоминания живут в этом раю. А еще здесь живет легенда. Она проста.

Возвратившись с фронта, инвалид войны Хамит Саматов взял к себе в дом, согрел, спас 13 детей, осиротевших на дорогах войны. Своих детей у него в ту пору еще не было, и жены не было.

Время идет, былое отодвигается все дальше, и сейчас, из щедрого роскошества этой мирной осени, кажется все невероятнее то, что пережито. Радуется и ликует певучий голос Хамита — он рассказывает, какими хорошими людьми выросли его дети. Вдруг мимо нашего стола проносится стайка босоногих смуглых ребятишек. Хамит успевает погладить одного из них по стриженому затылку. Конечно, без детских голосов тишина Хамитова двора показалась бы мертвой. Но откуда все-таки взялась эта босоногая стая? Это все внуки Хамита? Почему же при встрече мы никого во дворе не видели, кроме молчаливой, как всегда, улыбающейся Санобар, жены Хамита, и троих его младших детей, знакомых мне, но теперь неузнаваемо изменившихся, уже взрослых? «Э-э, — загадочно отвечает Хамит. — Комнат у нас теперь много. Гости живут. Они пока не выходят — вас стесняются».

Потом выясняется, что в доме живет сейчас соседка с тремя маленькими детьми, которую обидел муж-пьяница, живет еще семья приезжих, которых Хамит встретил на базаре и пожалел — они никак не могли устроиться в гостинице, живет постоянно Соадат, дочь Пуримахаммата, внучка Хамита, которую он у родителей забрал. Почему забрал и как он за нею спешно в Кашкадарью ездил — это особая история. А сейчас хочу выразить свое главное впечатление от дачи Хамита: по соседству с пустыней действительно возник оазис — дом, в который всегда можно прийти пожить.

— А когда начал брать детей одного за другим, есть-то у нас совсем было нечего, ой-ей как я тогда похудел. Сорок семь кило от меня осталось. И Самат-ака, и Мангит-апа тоже от голода шатались.

Три сундука памяти

Итак, живем в раю. Володя с утра успел побродить по окрестностям, сделал какие-то экзотические кадры. И Хамита успел снять, и Санобар (для меня открытие, что она, Санобар, уже не пугается фотографов). Завидую Володе, он полдела своего сделал, а тут не знаешь, как и подступиться.

Мне ведь нужно как бы заново открыть Хамита, иначе и приезжать не стоило. А вдруг удастся раскрыть тайну его поразительной доброты? Для этого нужно попытаться посмотреть на ставшего родным человека, как на чужого — отстраненно, бесстрастно. Очень это трудно! И все-таки, стараясь быть объективной, смотрю на него придирчиво. Первое, что замечаю (и это расстраивает меня): очень уж носится Хамит со своей, так бурно нахлынувшей на него славой. Главные рассказы — о наградах, почестях и корреспондентах. Месяц назад москвичи приезжали фильм снимать, весной Берлинское телевидение пожаловало, неделю назад корреспондент из Киева был. Даже «Крокодил» однажды нагрянул, вот какую хорошую статью этот журнал поместил — с рисунками (показывает журнал). Фамилии, имена-отчества и даже адреса всех приезжавших выпаливает наизусть. Ну и память у него! О себе говорит в третьем лице: «Инвалид войны Хамит Саматов, отец интернациональной семьи, почетный граж-

данин города Каттакургана, пенсионер республиканского значения...»

Вдруг строго смотрит на меня: почему на празднование его 70-летнего юбилея не приехала? Эх, какой праздник устроили в его честь городские власти! В кинотеатре «Маджиди» (это самый большой зал в городе) человек пятьсот собралось. Представители разных организаций читали Хамиту хорошие слова, дарили ценные подарки, потом песни ему пели, танцевали для него. На праздник все дети Хамита съехались: Нуримахаммат из Кашкадарьи, Арслан из Куйбышева, Кучкар из Оренбурга, Иван из Свердловска, Керим из Пермской области... Славили Хамита. Город ему 16 чапанов (национальных халатов) подарил, хрустальные вазы, настенные часы. Ну, Хамит, ясное дело, все подарки тут же за кулисами детям передарил.

В свое время я, конечно, поздравила Хамита с юбилеем. Не могла я забыть даты, которую мы с Хамитом в свое время вместе назначили. Дело в том, что жил он и жил, год своего рождения, разумеется, знал, а дня рождения никогда раньше не праздновал, просто не существовало для него этого дня — в бедной узбекской семье не придавали значения датам. Но есть в его биографии дата — 18 октября 1943 года. В этот день его взвод штурмовал Днепр. Он запомнил ее навсегда, говорил о ней так: «В этот день умер Хамит. И родился заново». В общем, порешили мы с ним, что, поскольку у каждого человека все-таки должен быть свой день рождения, пусть будет и у Хамита: 18 октября.

...В том старом дворе на Нахимова, 2 (это самый центр Каттакургана), где остались теперь жить два брата Хамита и два его женатых сына, у Хамита был музей. Я не сразу

тогда его заметила. Большую часть двора занимал каркас большого и длинного, как караван-сарай, строения. Это отец Хамита, Самат-ака, начал сооружать дом для совместной жизни своим многочисленным детям и внукам, чтобы все-все могли жить вместе, под одной крышей. Был Самат-ака хорошим каменщиком, и строение могло выйти на славу. Но не успел, умер Самат-ака. Так и загасла его мечта собрать всех детей и внуков под одной крышей. Хамит рассказывал мне тогда: «Ишак у меня был, пчелам воду возить. Пришлось продать ишака. Один человек говорит: машину как инвалид войны хлопочи. А мама моя старенькая говорит: «Не теряй чести, Хамит, не проси. Мы как в войну и после войны жили? Нищие были, голод терпели, а сейчас чего не хватает?» Права Мангит-апа, ой, как мы терпели... Да вон он, музей, стоит, видели?» Повел меня в глубь двора, и только тогда я увидела в тени недостроенного караван-сарая кособокую, щели насквозь, избушку из потемневшей глины. «Вот и жили мы здесь в войну и после войны. Тринадцать детей и Самат-ака, и Мангит-апа, и я тут. Сломать надо, но все жалко. Музей!» Сколько же человеческих жизней видели и согревали эти шаткие стены! Избушка — так показалось мне — сама превратилась в живое теплое существо. « Сохранился ли музей?» — «Стоит, стоит. Поедем завтра, посмотрим». Ну а теперь, на даче, есть у **Хамита комната** с громким названием «Архив». Ведет меня туда. В темноте различаю три огромных кованых сундука. Новенькие, на заказ, видно, сделанные. В одном сундуке кипы фотографий, в другом — ворох писем, в третьем — подшивки газет и журналов. Листаю их, и в глазах рябит. Что это? Двадцать

экземпляров одного и того же номера «Крокодила»! (Это тот номер, где статья про Хамита с рисунками.) Полсотни номеров «Правды Востока» — все за одно число! Зачем так много? «О-о-о, меня не будет, нужно будет. Архив!» — невозмутимо отвечает он.

Когда мы впервые встретились, о Хамите была написана только одна статья в местной прессе — больше ничего. Это удивляло, казалось несправедливостью. Вот о семье ташкентского кузнеца Шамахмудова, усыновившего в военные годы 15 детей разных национальностей, весь мир знает. И это правильно. Хамит совершил подвиг не меньший, но почему же он уже 30 лет в тени? Может быть, слава не любит повторений? — думала я. Или дело в том, что Каттакурган дальше от журналистских дорог, чем Ташкент? Детей его пытала: почему так долго молчали об отце? «А вы всем о своем отце рассказываете?» — закрыл тогда тему Донат, старший из сыновей Хамита.

В ту пору Хамит побаивался прессы. Когда районная газета захотела о нем написать, Хамит три дня от корреспондента бегал. «Некогда, очень некогда», — отнекивался Хамит (он тогда завскладом в конторе «Заготсырья» работал). На самом-то деле и хотел бы он с человеком поговорить, и время бы нашлось, да не мог пойти против воли матери. «Не теряй чести, Хамит, не гордись, — внушала сыну Мангит-апа. — Разве мы для того детей отогревали, чтобы потом славиться?» Корреспондент на третий день в райком пожаловался, Хамита вызвали, объяснили, что не в славе тут дело, а нужно людям правду знать о прошлом и такой это важный вопрос, что можно и не послушаться матери.

...Куда девается прошлое? Неужели оно исчезает бесследно, вытесняется настоящим? Не вместятся два утра в одном дне, не вырастет весенняя листва, если не опали прошлогодние пожухлые листья. Значит, и чувства наши, и мысли, и душевные движения, какими бы сильными, высокими они ни были, отлетают вместе с мгновением безвозвратно? Нельзя дважды ступить в одну и ту же воду. Нельзя дважды открыть одно и то же в человеке. Проходит время, и сам человек становится другим.

Когда в первую нашу встречу Хамит рассказывал о своей жизни, это звучало чуть ли не впервые и было для него самого глубоким переживанием. Он так рассказывал, что прошлое будто возвращалось въявь, настолько реально существовало, что мне и в голову не приходило задаваться вопросом: куда девается прошлое? Казалось, что он все страдания детей переживает заново, и невозможно было не сопереживать вместе с ним. Теперь эти истории, много десятков раз описанные в статьях и книгах, он уже повторяет как по заученному, будто не с ним это было, а он со стороны на давние события смотрит, тихо превратностям жизни удивляется. Замечаю, что появилась у него новая интонация — удивление своей собственной жизнью. Но что она объясняет?

Добрый, славный Хамит, как старается он мне помочь: все-все заново рассказывает (и еще не раз повторит), но мне его характер от этого яснее не становится. Эх, если б душу свою отдать, он всегда — пожалуйста. Но выворачивать душу наизнанку, чтобы что-то в ней анализировать, — совсем чужое это Хамиту. Он вот не догадывается даже, что смотрю

сейчас на него с жалостью: испортили его мы, журналисты. Надоели мы ему?

Нет, почему же? Гость в дом — всегда радость. Правда, иногда журналисты очень спешат, рассказывают о том, чего не было, а про то, что было, почему-то забывают. Когда кто-то не жизненную, а просто хвалебную статью напишет, огорчается Хамит. Кому и зачем надо, чтобы Хамита хвалили? За что его хвалить? Людям правду надо знать, про горе былое помнить. А от похвальбы одна «нависть». «Права была Мангит-апа, — вздыхает Хамит, — как стали о семье Саматовых много писать, появилась у некоторых людей нависть». (Не сразу понимаю, что свой неологизм он образует от зависти и ненависти одновременно.) Зачем, — спрашивают теперь эти люди, — Саматов одного за другим детей брал, когда сам был нищим? Лучше бы, мол, в детдом сирот отвел, там бы их накормили. Тут уж не выдерживает — гневается Хамит: «Не было в нашей семье сирот!» А те, у кого «нависть» — за свое: разве это называется усыновил, если не стал даже всех детей на фамилию Саматовых переводить? Бывает, насмешничают: какой же ты отец, если твою Лизу после войны родственники забрали и даже адреса не оставили? А Женька-белорус пожил у Саматовых два года и сбежал, и ничего-то Хамит о нем не знает. Пришел после одной статьи запрос про Женьку, ищет кто-то мальчика с этим именем, потерявшегося в войну, так знаешь, что человеку ответили? Хамит протягивает копию, отпечатанную на бланке: «Помочь не можем. Факт, сообщенный в газете, не подтвердился...» «Как это — не подтвердился?» — не понимает Хамит.

Ну что ему ответить? Запрос о Женьке пришел, между прочим, после моей статьи в «Комсомольской правде» — получается, я лично причастна к тому, что произошло это недоразумение, обидевшее Хамита. Извиниться, может быть, перед ним за то, что мы, журналисты, превратили его в живой памятник, создали ему славу, о которой он не мечтал и не думал, а теперь расплачивается? Но, с другой стороны, разве не рад Хамит, что пришли к нему на старости лет почет и уважение? Разве не по справедливости награжден в год 60-летия СССР орденом Трудового Красного Знамени? За войну у него орден Красной Звезды есть, а теперь — мирный орден. Необычная была формулировка Указа: «За... воспитание 13 детей, потерявших родителей, наградить...»

Но зачем так много говорить о своей известности? Да он же всегда что думает, то и говорит, как чувствует, так и делает. И можно ли к Хамиту — с банальными мерками? (Это я уже себе в укор.)

Ни в каких утешениях по поводу того оскорбления на бланке он, оказывается, не нуждается. Торжественно опускает тяжелую крышку сундука, будто священнодействует. Здесь лежит память. Память нужна людям. Хамит — сторож памяти.

Чайхана. Беседы о судьбе

Сидим в чайхане, пьем зеленый чай. У Хамита здесь назначена встреча с аксакалами. Два белобородых старца в тюрбанах имеют к Хамиту серьезный разговор, о чем-то нужно посоветоваться. Хамит — весь внимание. Любит он сам без умолку, громогласно говорить, но умеет и других

поглощенно слушать, всем корпусом подается при этом к собеседнику, в лице — решимость взять на себя чужую заботу. Рядом с Хамитом чувствуешь особую уверенность, гарантированную надежность жизни.

Потолковали они про судьбу, про то, как и что идет на свете, и вот уже Хамит — деловой он, как ни странно, человек, — заботясь о том, чтобы и здесь, в чайхане, для меня время шло с толком, переводит разговор на прошлое, но, чтобы аксакалам тоже было интересно, поворачивает вопрос так: разве это не судьба, что он детей находил, хотя и не искал вроде?

«...Мой первый, Кучкар, тот просто дернул меня за полу шинели. Как было мимо пройти?»

Он спрыгнул с поезда и думал, что ступил, наконец, на обетованную землю, которая ждала его далеко и долго, снилась ему в окопах, вся в солнце, не тронутая войной. Но он не узнал знакомого вокзала. Над пустынным перроном не горели ни фонари, ни звезды. Солдат сделал несколько шагов и вдруг услышал... Впрочем, особого героизма в поступке солдата, вернувшегося с фронта с ребенком на руках, конечно, не было.

В радости встречи отец и мать не разобрались сначала, что сын вернулся с войны не один. Заметив мальчонку, отец, Самат-ака нахмурился:

«Это — твой? Ты что — женился? Другие воюют, а ты...» Узнав, в чем дело, отец и мать решили: «Будет наш. Будет Донату младший брат». С начала войны жил в доме Донат Клепиков, мальчик из-под Иванова, у которого умерли родители.

Вскоре новенький (он помнил свое имя — Кучкар) тяжело заболел, начался у него жар внутренний, он стонал, метался — вот-вот оборвется тонкая ниточка жизни. Врач сказал, что случай безнадежный. Но Хамит настоял, чтобы мальчика положили в больницу, с ним вместе легла мать Хамита Мангит-апа, никогда раньше больниц не знавшая. Почти полгода провела она там с Кучкаром. А тем временем семья Саматовых все росла.

Хамит рассказывает об этом с протокольной простотой и точностью:

«...Через неделю я повстречал Арслана. На углу улицы Карла Маркса и Ленина. Он был синий от холода, но не плакал. Я взял его за руку, он пошел и ни о чем по дороге не спрашивал».

Слушаю его безыскусный рассказ-отчет и пытаюсь представить, что мог испытывать он, молодой еще, 30-летний, неженатый, собирая сирот на улицах. Наверно, и сам не предполагал прежде, что с такой силой может полюбить малое дитя. Сказать: чужое дитя — будет несправедливо. Всех детей в ту долгую военную зиму 44-го, и в весну, и в лето, и в осень, и в следующие зиму и весну, пока война не кончилась, чувствовал Хамит своими родными детьми. Что-то случилось с Хамитом. Будто открылась в сердце жгучая рана — мы можем назвать ее страданием за всех обездоленных детей на земле. Разве мог он забыть то, что видел на фронте? Женщину, баюкавшую мертвого младенца, или того ребенка, который пытался сосать грудь убитой матери...

Война в его рассказах встает неким разъяренным, миллионноруким, алчущим крови чудовищем, из какой-то

не вмещаемой сознанием взрослой сказки, а он, рассказчик, выглядит в ней ребенком, до глубины естества потрясенным самой необходимостью противостоять этому чудовищу.

Первым попал на фронт младший брат Хамита Азим, его еще накануне войны призвали на действительную службу. Мать, Мангит-апа, глаза проглядела, высматривая почтальона, но писем от сына все не было. Скоро почтальон принес повестку среднему брату Рабиджону, а Хамиту повестку не принес. Получалось, что он, старший сын, должен был оставаться дома со старыми родителями на руках как их единственный кормилец. А война, значит, будет идти и кончится без него? Хамит явился в райвоенкомат вместе с братом, попросился на фронт, и его просьбу, конечно, уважили.

«Так началась моя, совместная с братом фронтовая жизнь». Они стояли в обороне Москвы, форсировали Дон, освобождали Ростов и множество деревень, названия которых, хоть среди ночи разбуди, выдаст без запинки неусыпающая солдатская память: Первомайское, Колыш-кино, Глубокое... У Каменец-Подольска под Ворошиловградом война разъединила братьев, и Хамит уже один вынес ад Сталинградской битвы. Когда Сталинград был освобожден, надо было отобрать у врага город Изюм («Узюм» — упрямо ошибается Хамит, но это его единственная ошибка во всей русской географии). В Изюме его назначили командиром взвода, а после боя наградили медалью «За отвагу». Потом дивизия, в которой он воевал, подошла к Павлограду, Днепропетровской области, и так отважно штурмовала этот город, что получила наименование 60-й гвардейской Краснознаменной Павлоградской

дивизии (Хамит просит меня записать точное название — вдруг прочтут однополчане, отзовутся). Дальше он брал Запорожье и был награжден орденом Красной Звезды. И вот, наконец, ему предстояло форсировать Днепр. Это был бой, где погибал Хамит и где родился он заново...

«...Возвращаюсь один раз с работы и вижу: на Пушкинской улице женщины обступили ребенка, чистый такой, игрушку в руках держит. «Давно он здесь?» —спрашиваю. «Часа три».— «Ладно, — говорю, — идите, я подежурю». Честно, до самой темноты ждал, но никто за мальчонкой не пришел. Мой отец назвал его Суннатом».

Дальше, не переводя дыхания, рассказывает о Лизе:

«...Несколько раз я замечал эту девочку у малярийной станции, ходила в грязном платье, что-то искала. А тут пришла к нашему двору, смотрит через забор, как ребята играют. Я ее узнал и спрашиваю: «Что ты на малярийной станций делаешь?» Она, Лиза, испугалась, заикается, но отвечает: «Когда все уходят, я там сплю». Ну, не мог я стерпеть и взял ее в дом».

Хамит откашливается, чтобы прогнать жалостливую хрипотцу из голоса. Аксакалы согласно кивают тюрбанами в такт его рассказу: да, это судьба, стало быть, на роду так написано— быть Хамиту отцом всех повстречавшихся на его пути детей.

Судьба? Для себя я имею более убедительное объяснение. На войне Хамит видел множество смертей, сам должен был убивать, мог погибнуть и погибал уже. Но остался жив. И в том деле, на которое решил он теперь употребить свою жизнь, было как раз не согласие, а спор с судьбой. Когда одна бомба может убить сразу сто, а то и тысячу

человек, ему упрямо хотелось доказать, насколько ценна одна-единственная человеческая жизнь. Из ада войны, ожесточающего, как считают некоторые, людские сердца, Хамит, сам того не ведая, вынес чувство, которое другой человек, тоже потрясенный ужасами войны, назвал «благоговением перед жизнью». Хамит не знает, кто такой Альберт Швейцер, но очень понравились бы ему эти его слова: «Я есть жизнь, которая хочет жить, я есть жизнь среди жизни, которая хочет жить...»

Многие дети пришли к Хамиту в жизнь как бы из тайны. Говорить в большинстве своем не умели, кто они и откуда — не помнили. Откуда взялся на вокзале Кучкар? Как оказались на улице Арслан, Суннат? По чьей-то неосмотрительности? Их потеряли, когда везли в детдом?

Или кто-то умышленно ребенка на улице бросил? Вечная это проблема: самоотверженность одного человека часто исправляет то, что по слабости или жестокости совершил кто-то другой. Но мысль об этом даже в голову Хамиту не приходила. Когда собирал он своих детей на вокзалах, базарах и улицах, об одном только мечтал и думал: поскорее спасти. Пусть он будет грязный, оборванный, пусть и в его, Хамитовом доме, останется таким же худым и почти всегда голодным, по пусть будет он живой, просто живой.

Когда приводил он в дом (а чаще — приносил как драгоценную безымянную ношу) этих испуганных, дрожащих от холода, «ничейных» детей (лишь потом выяснилось, что Кучкар — туркмен, Женька — белорус, Нурнмахаммат — таджик, Лиза — еврейка, Керим — татарин), Мангит-апа говорила: «Кто бы он ни был, это— человек».

Сердце Хамита радовалось словам матери. Слова эти были ему знакомы. Да, он услышал их, когда родился вновь там, на берегу Днепра.

...Полную боевую готовность объявили в 12 ночи. Не было ни секунды на размышление. 38 человек и три станковых пулемета погрузили в один баркас, и Хамит был там старшим. «Вперед, вперед, Узбекистон!» — кричали ему по рации с берега. («Узбекистон»—так его звали на войне.) И он, отрываясь от наушников, тоже кричал своим бойцам: «Вперед! Вперед!» Бойцы налегали на весла, направляясь на тот берег Днепра, а враг повесил над рекой ракеты, и стало среди ночи светлей, чем днем, — хоть камешки со дна собирай. И тут враг начал бросать на людей все смертоносное, что только можно было бросить: пули, снаряды, мины. Баркас пробило, дыру заткнули шинелью. Не умолкая, строчили с баркаса пулеметы, но и крик, стоны тоже не умолкали. Был это полный кошмар на воде. «Пятнадцать раненых, десять убитых, двадцать... — считал, стискивая зубы, Хамит и повторял: — Вперед, вперед, вперед...» Своих ран он не считал.

На середине реки баркас стал тонуть. Плавать Хамит не умел. Последнее, что осталось в сознании: левой рукой, которая горит, как в огне, он хватается за невесть откуда взявшееся бревно.

«Это — человек!» — из забытья, из уже подступающего небытия вырвали его эти слова. Чьи-то руки разбрасывали снег, закрывший его могильным сугробом. Потом был подвал, два милых женских лица, совсем молодое и постарше, глоток воды, кусочек сахара, телега, в которую вместо лошади была впряжена корова, — его везли в госпиталь.

«Может быть, оттого и спасал я чужих детей, — рассказывал мне в первую встречу Хамит, — что хотелось таким путем отблагодарить двух незнакомых украинских женщин, что спасли меня самого от неминуемой гибели на берегу Днепра».

«...Как я нашел Мирали? Было это уже весной 45-го. Ночь, ветер. Шел я по улице Зирабулакской и — что такое? — прячется у забора старик, голова у него одна, а ноги — четыре. Имея уважение к старшим, я подошел. Тут из-под чапана выскользнул мальчишка, а старик отвечает: «И-и-эх, что спрашивать про судьбу? Не можешь помочь, иди своей дорогой». Оказалось, старик — из Бухарской области, жена умерла, дом из-за ветхости развалился. И вот пошли они с сыном счастья на дорогах искать. То их добрые люди в сарай переночевать пускали, а тут выгнали. Старик ночью ничего не видел. Я его за руку взял, он — мальчишку, так и пошли мы в темноте гуськом. Самат-ака дома спросил: «Ты теперь и стариков усыновлять будешь?»

Строгие лица аксакалов при имени Самата- аки светлеют: «О-о! Это человек был! Одну изюминку на сорок частей разделить мог!» Хамит, растрогавшись, жалуется аксакалам — есть сейчас люди некоторые, они осуждают Самата-аку: зачем разрешал Хамиту детей одного за другим брать, когда своя семья была нищей? Вот как неправильно понимают некоторые люди судьбу.

«Правду сказать, к концу войны ничего у нас в доме не было. Только вши и солома. Зимой на детей пара калош одна, по нужде выйти — очередь ждали».

Вши и солома — об этом и вспоминать в наше время как-то неуместно, стеснительно. Но смело вспоминает

Хамит. Знает же он, что не только хлеб насущный спасает людей. Все до одного его дети выжили — разве это не главное? Все выжили и сами детей нарожали, и правнуки у Хамита уже пошли... Больше девяноста (!) человек семья стала...

Как из крохотного семечка вырастает мощная яблоня и не веришь, что из такой малости может возникнуть большое дерево, так и здесь поражаешься: какими маленькими, еле живыми были дети Хамита и какой крепкий многочеловечий возник род.

«Самое большее, что я мог дать всем моим детям, это крышу над головой, сердечное тепло и ласку. А хлеба было совсем мало».

Дети обретали у Саматовых семью, дом — вот что спасало! И горел в той глинобитной избушке очаг. И прикасались к изголодавшемуся по теплу и ласке тельцу ребенка заботливые руки Мангит-апы, и дедушка Самат-ака был тут как тут, всего себя посвящал детям.

Самат-ака детей трудолюбию учил. Принесет кирпичи прямо во двор и — кто лучше? кто быстрей? Победителю — приз, урюка две штуки. А еще Самат-ака давал внукам оригинальные уроки честности. Расскажет, например, сказку о том, почему плохо брать чужое, спрашивает каждого: понял? Вроде бы все поняли. Проходит время, и вот однажды на базаре говорит Самат-ака кому-то из них: «Возьми яблоко с чужой арбы». Внук мнется, а потом берет. «И-и-эх, — скорбно качает головой дед, — ничего ты пока не понял».— «Но ты же мне приказал!» — «Мало ли кто что тебе прикажет! Ты сам брать не должен. Ты свое сердце слушать должен».

И давал уроки доброты. Когда голод был, Самат-ака катышек хлеба возьмет в рот, а остальную свою порцию — детям. Они запоминали. Если бьет один другого, Самат-ака не ругается, скажет только: «Это — брат, твой брат. Ему, как и тебе, больно». Сажает Самат-ака виноград во дворе, дети воду таскают, радуются: «Вырастет, вкусно будет».— «Это — нам польза», — объясняет Самат-ака. А потом сажает виноград на улице, дети не понимают: «Зачем? Чужие оборвут».— «Человек твою виноградинку съест, тебя вспомнит, — объясняет Самат-ака. — Это больше, чем польза».

Радовался Хамит. Из какого горя пришли к нему дети, сколько злых испытаний он сам на войне перенес, а теперь все-все добром оборачивается. Значит, правильно идет жизнь. Кем бы его дети ни стали, лишь бы хорошие люди выросли, чтоб уважение к каждой жизни имели. Ну а как же? Вот ползет муравей. Ты его обойди. Откуда тебе знать, по каким важным делам он ползет, не ты его посылал. Разве затем человек родится, чтоб убивать?

«...Иван. Кто он мне? Нет, скорей не сын, а брат будет. Возле нашей части приметил парнишку лет 16-ти, один рукав, как у меня, болтается. Просил он у всех махорки или хоть затянуться. Отца его, оказалось, на фронте убили, мать при бомбежке погибла, сам он партизанил, а теперь от всех отбился, бродягой стал».

Четыре года жил Иван Широков у Саматовых, потом вдруг исчез. Искали его долго, но в один, как говорится, прекрасный день явился сам и — с порога: «Бейте меня, ругайте, я — блудный сын».

«Все правильно ты, Хамит-ака, делал, — говорит самый старый аксакал с красивым точеным лицом. — Это был твой долг, простой человеческий долг — спасать детей. И не понять это могут только плохие люди».

Хамит удрученно замолкает, снимает тюбетейку с головы — скорбный такой жест. Насмешливые, все понимающие глаза заволакивает непрошеная влага. Он пытается скрыть ее, нагибается под стол — якобы погладить кошку (она здесь, в чайхане, на правах хозяйки бродит). Да, ослабел сердцем Хамит. Раньше с ним такого не бывало.

Когда мы выходим из чайханы, молодые мужчины, сидящие на ступеньках, все разом встают и кланяются Хамиту, приложив, по восточному обычаю, руку к груди. Он, высокий, грузный, идет быстрым, широким шагом и тоже приветствует каждого прикладыванием иссохшей раненой руки к груди.

Неудавшаяся попытка разговора с памятником

Из нашего сегодняшнего благополучия трудно себе представить, как это дети, трехлетние, четырехлетние, спят вповалку на соломе, как это — за целый день съедают по кусочку хлеба. На карточку тогда по 300 граммов хлеба давали, люди умирали от голода, родители бросали своих детей, а он приводил в дом одного, второго, тринадцатого... Усыновлял? Как сказать. Он в самом деле не стал всех детей на фамилию Саматовых переводить. Кто помнил свою прежнюю фамилию, так с ней и остался. Он всех детей в домовую книгу записывал, а как еще усыновлять,

знать не знал. «Что документы? Люди живые — вот мои документы». Фамилия, как и национальность, как и другие названия человека, в представлении Хамита никакого значения не имеют.

Сейчас, в мирное время, тоже — бывает — усыновляют детей. Теперь это такой сложный процесс. И не только потому, что дети без родителей остаются сейчас редко, но и потому, что те, кто усыновляет, слишком придирчиво подходят к этой процедуре. Присматриваются, долго выбирают. Случается, не приживается ребенок в доме, не оправдывает возлагаемых на него надежд, тогда его возвращают, как негодный товар, обратно в Дом малютки. Увы, бывает такое. А Хамит брал детей, думая только о них, он их спасал, а не присваивал.

«Ну, не смог я стерпеть и взял ее в дом...» И это — объяснение? Да один он, что ли, ходил по улицам голодного города? Разве у других людей сердце каменное? Но почему же именно он взял второго, третьего, тринадцатого? Спрашиваю об этом и сразу попадаю в тупик его молчания, в закоулок своей неловкости. Неправильно так ставить вопросы. Нельзя поведением одного человека укорять других людей. Это значит — считает Хамит — раздвигать пропасть между людьми.

Кто сумеет объяснить, почему здесь же, в Узбекистане, в спасительном Узбекистане, где нашли пристанище 100 тысяч осиротевших в войну детей, люди вели себя по-разному? Все, все было: одни брали детей в семьи, сбивались с ног, организуя детдома, умирали, заразившись от своих воспитанников тифом, другие в это же время воровали продукты, предназначенные для детей... Такие люди, как

Хамит, конечно же — прекрасная редкость, но все-таки он не исключение, а олицетворение того добра, которое всегда противостоит беде и горю.

В архивных материалах мне встретилось имя: Бахрихон Аширходжаева. Судьба этой женщины потрясает. Задолго до войны, в 1928 году, подобрала Бахрихон на улице первого подкидыша. А к концу войны она, в ту пору уже овдовевшая, стала матерью двадцати двух (!) чужих детей. Давно нет на свете Бахрихон. Умер и кузнец Шамахмудов, семья которого усыновила 15 детей разных национальностей. Ему, Шамахмудову, в год 60-летия СССР в Ташкенте памятник поставили. На открытии этого памятника говорилось и о Хамите: «Тринадцать детей, вихрем войны заброшенных в нашу республику, спас инвалид, вернувшийся с фронта, каттакурганец Хамит Саматов». И вот получается, что этот памятник — стоит мужчина в тюбетейке, положил руку на голову девочки, сидит женщина, обняла ребенка, а вокруг играют другие дети, много детей — и семье Саматовых тоже посвящен. Получается, значит, что, разговаривая с Хамитом, я как бы говорю... с живым памятником.

Вспоминаю рассуждение Пришвина о том, зачем нужны памятники. Они нужны, конечно, не тем, кому поставлены, а всем остальным людям, чтобы знали они, видели, каких высот может достичь человек.

Но можно ли спросить у моря, почему оно глубокое, можно ли спросить у горы, почему она неприступная, можно ли спросить у земли, почему она такая терпеливая и щедрая? Так и у человека нельзя узнать, почему он самоотверженный и добрый.

«Что объяснять? Ребенок умирает на дороге, жизнь ребенка — свечка на ветру. Ты что, мимо пройдешь?» — отвечает Хамит и вдруг, сверкнув огненно-черным глазом, поет что-то озорное по-узбекски, чтобы снизить торжественность момента. Не хочется человеку превращаться при жизни в памятник.

Нет, мне не доводилось видеть на дороге умирающего ребенка. Слава богу, жизнь щадит нас сегодня от подобных испытаний. Но разве не было случая, когда слышала я зов о помощи (не о спасении жизни, правда, о чем-то куда менее существенном, но откуда нам знать, насколько и что важно в чужой жизни?), да, звучал зов, а я по каким-то причинам (всегда кажется — объективным) не успевала на него ответить? Некогда, очень некогда... «Спешите делать добро!»

Когда говорю людям о Хамите (мне хочется вновь и вновь рассказывать о нем), часто слышу: импульсивная доброта. То есть он, мол, не делал выбора, а действовал по рефлексу, выработанному воспитанием. Что ж, Хамит подтверждает:

— Отец мой всегда говорил: «Я тебя только доброе учил делать. Будешь плохое делать, встретимся на том свете, в глаза тебе не посмотрю».

«Святая простота», — может снисходительно улыбнуться иной читатель. Чему у него учиться? Внутренний мир современного человека так сложен... И незачем, значит, тайну хамитовой доброты разгадывать — все равно в обиходе она нам не пригодится.

...Вши и солома, только вши и солома, а до урожая еще далеко, и все из домашнего скарба, что можно было обменять на продукты, уже отнесено на базар. И решил Хамит

продать свои сапоги. Решение это пришло к нему в одну из ночей, которую оп провел без сна. Дело в том, что первое время, пока ребята обвыкались в доме, кому-то из взрослых приходилось ночью дежурить. Ведь дети просыпались, у них болели животы, они могли устроить спросонья потасовку. Так вот, в это свое дежурство наслушался Хамит, как постанывают от голода дети, и «кровью облилось мое сердце». Утром Хамит сказал отцу: «Продам сапоги!» Отец молчал. Значит, давал согласие. Хамит понес на рынок и сапоги, и шинель. За шинель предлагали два мешка отрубей, за сапоги — один мешок жмыхов. Ждал до обеда, надеялся получить побольше. Но тут уж народ стал расходиться. Хамит потерял надежду и вдруг является откуда-то молодой парень, приценивается. «Давай, что даешь», — в отчаянии сказал Хамит и принес с базара два мешка отрубей.

С проданной шинели начался добрый поворот в жизни семьи Саматовых. Кстати, и шинель, и сапоги вскоре в дом вернулись. Их принес тот же парень и виновато объяснил, что сделать это велел ему отец. Когда парень описал внешность того, кто продавал шинель, старик сразу догадался, что это был Хамит, сын Самата-аки, который всегда был известен своей добротой для других. Можно ли пользоваться бедой такого человека? Отруби парень назад не взял.

Но не это я имею в виду, когда говорю о добром повороте в жизни семьи. Проданная шинель (когда она еще была проданной) успела сыграть поистине важную роль. Дело было так: после базара явился Хамит на работу в старом чапане и в шлепанцах, сделанных из выброшенной шины. А дисциплина там, где Хамит работал, была

строгая. («С первых дней тыловой жизни выполнял я ответственную работу по обеспечению личного состава овощами и фруктами».)«В каком ты виде, Саматов! — возмутился начальник Василий Акимович Мельник. — Как не стыдно? Пропил сапоги, пропил шинель!» — «Я непьющий, — в свою очередь возмутился Хамит. — Но должен же я накормить детей!» — «Еще скажи! Ты холостой. Я своей рукой документы писал». Овладев собой, Хамит ответил: «Не верите — проверьте». — «Садись в машину!» — вгорячах сказал начальник.

Как вошли они во двор и Мельник всех детей своими глазами увидел, стали мокрыми его глаза. Тут же повез он Хамита к себе домой, отдал последнюю буханку хлеба, снял с себя сорочку и попросил жену Марию Артемьевну сшить детям рубахи. Позвал на следующий день тетю Дусю из отдела снабжения и поручил: «По всей возможности помогать Саматову». Сначала с кухни давали одно ведро баланды, потом стали отпускать по два. Может, и не совсем это законно, может, и рисковал Мельник, но голод в семье Саматовых кончился. Мария Артемьевна и тетя Дуся теперь вместе с Мангит-апой купали детей, стирали, латали одежду. Вывели вшей!

С кем бы из детей Хамита я ни говорила, никто не вспоминает, что было голодно, было трудно. Рассказывают, каким добрым был Самат- ака. Какой мудрой была Мангит-апа. А Хамит, отец, таким другом каждому из них был... Донат Клепиков, инженер (он был старшим из детей, уж он-то, думала я, все помнит), неожиданно заявил: «Очень весело нам было!» Да, избирательна детская память. Все плохое, трудное застревает в родительском сердце.

Итак, сказочно изменилась жизнь семьи Саматовых — каждый день им отпускали из столовой 13 обедов. Но Хамит не знал, что подоспеет такая помощь, когда подбирал посиневшего Арслана, когда звал в дом девочку в изодранном платьице — Лизу, когда вел ночью слепого старика с его сыном Мирали. Что бы он сейчас ни говорил про судьбу, но по фактам получается, что с некоторых пор его жизнь превратилась в постоянную охоту за детьми, которые могут погибнуть. Он не знал, чем их завтра накормит, не задумывался, смогут ли они оценить его доброту, но в ту минуту спешил спасти. Богатому доброту проявить — была бы охота, а ведь здесь, образно говоря, голый человек на голой земле, но как много он сумел сотворить доброты! Он не знал, не ведал, как в это же время ведут себя другие, не задумывался о том, что есть некоторые другие, по вине которых, может быть, и оказались на улице в таком плачевном состоянии его дети. А если б и знал, это его не коснулось бы. Он действовал, не надеясь на других, ни на кого не оглядываясь.

«Поделиться последним бывает легче, чем отдать лишнее! — слышала я в ответ на свой рассказ о Хамите. — Благосостояние меняет психологию людей». Нет, никогда не соглашусь, что нравственность зависит от материальных условий, как урожай от дождя. Ну, стал теперь богатым Хамит. Вон, какую дачу ему сыновья хошаром отгрохали (жив в Узбекистане старый народный обычай, когда собираются родственники, друзья, соседи и всем миром помогают человеку в важном деле). Раньше была одна солома, теперь всюду ковры висят. Но разве что-то в психологии Хамита изменилось? «Ему хоть тысячу рублей в карман положи —

к вечеру не будет, все раздаст», — говорят его братья. При мне Хамит снял со сберкнижки 300 рублей, вырученных за мед. Зачем? У Арслана крыша прохудилась, надо послать, бедную Нарбодом с двумя детьми муж бросил, у Сунната семья большая, зарплата маленькая — троим сорванцам новая школьная форма нужна. В его архиве мне попалась толстая пачка квитанций — до ста посылок в год посылает Хамит своим детям в разные города страны (значит, моя посылка с чесноком — одна из ста, уже как-то легче). Если заболеет кто из его сыновей или их жены, дети, он первым появляется в больнице и всегда нагруженный гостинцами, как Дед Мороз. То, что можно купить за деньги, считает Хамит, ничего не стоит. Да разве останавливается жизнь, разве застывает она в благополучии, пусть сейчас и мирная жизнь. Недаром же говорят: маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы. Сколько же забот вмещает в себя сердце Хамита!

«Вы помогаете отцу?» — спрашивала я у его детей. «Отец ни в чем не нуждается», — ответил один из сыновей Хамита. «Отец насчет подарков жесткий. Ничего не берет», — сказал другой. А третий сын объяснил: «Ему главное в жизни, чтобы мог он сам другим помогать»..

Тема войны постоянно присутствует в рассказах Хамита. Одним из самых счастливых событий своей жизни считает тот факт, что удалось ему наконец разыскать двух украинских женщин, которые в 1943 году подобрали его, умирающего на берегу Днепра,, и отвезли в госпиталь. Надежда Ивановна Николаева и ее мать Мария Тимофеевна сами откликнулись, прочитав статью в «Комсомольской правде».

Письмо первое:

Глубокоуважаемый Хамит!

Только увидела Вашу фотографию в газете, и обмерло сердце. Стала читать статью и все больше волновалась. Сколько раз я и раньше вспоминала те страшные осенние дни 1943 года под Запорожьем. Фронт проходил через село Ново-Александровка, где мы жили тогда с мамой. В нашем подвале лежало несколько раненых бойцов, но одного я запомнила особенно. У него был восточный склад лица. Он больше молчал, может быть, не знает русского — думали мы с мамой. Но он так удивительно улыбался, превозмогая страдания. Столько света, столько благодарности было в его улыбке, что мы не смогли забыть это лицо. Мне кажется, это были Вы, дорогой Хамит!

Помните, к рассвету подъехали две телеги, раненых уложили по двое. А мы с матерью шли, держась руками за телегу, ни шагу не отступая в сторону. Лейтенант предупреждал нас, что будут проходы через минные поля. За селом попали под обстрел — к Ново-Александровке уже подступал враг. После первого взрыва лошади понесли. Кто-то из раненых крикнул: «Ложись!» Вторым взрывом нас с матерью присыпало землей. Мы остались живы, работали потом на кухне военного госпиталя, но тот обоз с ранеными так и потеряли.

Не знаю, дорогой Хамит, Вы ли это были в нашем подвале? Некоторые факты не совпадают. Вы говорите: Вас увезли на телеге, в которую была впряжена корова. Но ведь корова только шла за телегой. Вы вспоминаете кусочек сахара, но у нас не было сахара, мы давали раненым кусочки яблока, чтоб утолить жажду. Вы запомнили дату 18 октября, а мне кажется, что бой был 18 сентября.

Может быть, это и не Вы... Но, так или иначе, разве Вы должны благодарить «тех украинских женщин»? Это Вам низкий поклон до земли и всегдашняя благодарность, что ценой своих страданий спасли нашу жизнь, жизнь многих миллионов, кровью своей отстояли нашу землю. Спасибо и за Ваш гражданский подвиг после войны.

Мама моя, ей уже 80, тоже узнала Вас на фотографии и говорит, что человек с такой улыбкой, которую мы помним, вполне мог совершить такое благородство — мог спасти 13 чужих детей...

Н. Николаева

Письмо второе:

Родные наши Хамит, Санобар, Мангит-апа и все Ваши дети!

Смогу ли я выразить то счастье, в котором живу после Вашего письма? Вы правы, Хамит, все совпадает. В библиотеке я перечитала много литературы о Великой Отечественной войне и нашла, что нашу Ново-Александровку действительно освободили 18 октября. Четверо суток мы были в подвале, а на пятые ушли вместе с ранеными, за телегой. И мама подтверждает, что тогда было холодно, мы уходили в пальто. А сентябрь у нас теплый.

Мама живет в моей семье. А отец наш погиб в 1942-м, пропал без вести. Хоть бы могилу найти — мы даже этого лишены. Всей семьей 9 мая носим цветы на могилу Неизвестного солдата, долго стоим и плачем.

Мы с мужем вырастили двоих дочерей (обе — инженеры-строители), растим теперь внуков.

Конечно, мы должны, мы будем не только переписываться, но и часто встречаться. Для всей Вашей большой семьи наш

дом должен стать совсем родным. Напишите всем детям, если у кого отпуск, командировка, пусть не минуют нашего дома.
Н. Николаева

«Ты должен этих женщин до самого Каттакургана на плечах донести», — сказала сыну Мангит-апа. Хамит немедленно к ним поехал, потом Николаевы в Узбекистан приезжали (не раз), потом дети Хамита ездили к Николаевым. Они стали родными людьми. Это самый большой подарок, который принесла ему слава. «Найти человека...» — начинает и от полноты чувств не договаривает Хамит.

Санобар в свете луны

Наслушавшись рассказов Хамита и заново их пережив (все-таки случилось это — в чайхане он рассказывал аксакалам про своих детей так, что мне казалось, будто слышу все впервые), ночью никак не могу уснуть. Дети Хамита, такие, какими они были в тот момент, когда он их находил: чумазые, дрожащие от холода, не помнящие, кто они и откуда, — будто обступают меня, требуют помощи...

Одно из самых горьких воспоминаний детства — бабушкина песня (она почему-то часто мне ее пела) об одиноком мальчике, блуждающем в большом холодном городе: «Кто накормит и согреет, боже, бедну сироту?..» Так с детства и запомнилось: одинокий, ничей ребенок — страшнее этого ничего на свете нет.

Выхожу из комнаты. Над большим двором Хамита — созревшая до полноты луна. Она, видевшая то, что было сорок и тысячу лет назад, вобравшая в свой свет миллионы

человеческих взглядов, обращаемых к ней с мольбой и скорбью, неспособная никому помочь, но, наверное, все-таки сострадающая, а не равнодушная, луна сегодняшней ночи кажется мне неотъемлемой принадлежностью Хамитова двора. При свете луны жизнь, текущая на этом дворе под неутомимый аккомпанемент тоненького арыка, кажется неким фрагментом вечности. Хочется назвать эту жизнь забытым словом: бытие. И думать о простом и важном: как бы ни менялись времена, условия, а человек всегда останется человеком и сокровища души никогда не упадут в цене.

Кто-то тихо подходит сзади, легкая рука ложится на плечо. Не оборачиваясь, узнаю Санобар, она встревожена: почему не спится гостю. Маленькая, всегда приветливая Санобар, в отчаянной схватке с невзгодами покорно несла груз наравне с Хамитом, но так молчалива, что журналисты порой забывают о ней. Вот и я до сих пор о ней не рассказала. Поскорее нужно исправить эту ошибку.

Санобар появилась в семье Саматовых вместе с победой — в мае 1945-го. Ей исполнилось тогда 19 лет, у нее из-под тюбетейки струилось 25 тонких косичек, и она сразу стала матерью 13-ти детей. Еще пятерых сыновей и дочь она родит Хамиту позже, уже в пятидесятых, когда забудется голод.

В прошлый приезд мне так и не удалось с ней поговорить. Она тихой тенью мелькала по двору, возникала по первому зову Хамита, быстро подавала на стол, улыбалась, потом исчезала. Хамит говорил мне тогда, что женился на ней по любви, а она якобы выходила за него из одной жалости.

«Правду ли говорит Хамит?» — давно хотелось спросить мне у Санобар, но все не было случая. А сегодня вечером он представился — в доме собралось много детей с семьями, за

столом было шумно, но Санобар, как всегда, не сидела за столом, и тогда я решилась взять в переводчики Доната мы пошли с ним на кухню. «...Правду ли говорит Хамит?» Она смущенно закрыла лицо рукой, потом с отважным вызовом ответила: «Неправда. Хамит мне сразу понравился».— «Вы не боялись, что у него столько детей?» — «Почему бояться? Там же были Мангит-апа и Самат-ака».— «Вот все пишут о подвиге Хамита, а ведь главные заботы с детьми достались вам...» Она повторила: «За детей отвечала Мангит-апа. Я просто делала всю домашнюю работу».

Теперь стоим и молчим (луна — не переводчик). Вспоминаю услышанные накануне слова Санобар и думаю: все-таки про Мангит-апу она правильно сказала. Будто вижу вновь ее — сухонькую, с седой прядью из-под черной косынки, сидящую на лоскутном одеяле в углу полутемной комнаты в старом доме на Нахимова, 2. У нее были серьезные, добрые глаза и величественная посадка головы. Она уже в ту пору болела, от хозяйства отошла, но по-прежнему всеми важными делами в доме правила — дети и внуки приходили к ней за советом, докладывали новости.

Мангит-апа ни разу в жизни сфотографироваться не согласилась, интервью никому не давала. Но и без интервью можно было понять и представить себе ее жизнь. Родившая троих сыновей, проводившая всех троих на фронт, а потом дождавшаяся их (пусть у Хамита рука висит плетью, а у Азима — непроходящие головные боли, но все-таки они покалечены не настолько, чтобы это стало безысходным), она без устали благодарила судьбу и готова была всему свету отработать за то, что война пощадила ее семью — сыновья живы! И труд она не считала за труд, когда дело касалось

спасения детских жизней. А потом в этот труд, в этот воз впряглась и 19-летняя Санобар. Что знала она тогда о жизни? Что-то главное знала... Просто делала домашнюю работу. Всего лишь! Все приемные дети Хамита называют Санобар матерью.

Сейчас стоим и молчим. Ее маленькая шершавая ладонь, ее девическая застенчивая улыбка... Не знаю, о чем думает Санобар, но **мне** неожиданно вспоминается очень далекая от этого двора, от этой луны вещь. Как-то в журнале «Америка» я прочла серию статей о современных тенденциях в движении женщин за свои права. Речь шла о семье и карьере. Кто-то из авторов утверждал, что семья и карьера вполне совместимы и нет, мол, здесь дилеммы успеха. Одна бывшая журналистка, долгое время не желавшая иметь детей, но, наконец, решившая стать матерью, признает, что семья важнее службы. Но поразила меня последняя статья с названием: «Решение не иметь детей». Супруги, оба — деятели науки, зарабатывающие вдвоем 66 000 долларов в год, имеющие просторный дом из восьми комнат, дружно распределяющие между собой домашние обязанности, приняли окончательное решение не иметь детей. «...Единственное, ради чего стоит иметь детей, это чтобы в старости они о нас позаботились». Но зачем, — рассуждают эти супруги, — нам чья-то забота, когда мы и сами можем прекрасно обеспечить свою старость? И вот... «Билл взял инициативу на себя. Он решился на небольшую, но необходимую операцию». Не может теперь у них быть детей! Рядом со статьей была помещена фотография: улыбающиеся, довольные собой, сидящие чуть поодаль друг от друга на уютном низком диване в роскошной

своей гостиной, эти двое казались воплощенным символом одиночества и вызывали острую жалость.

Дети. Зачем нужны человеку дети? А зачем вообще человеку люди?

Мы часто забываем, как это важно услышать: «Я тебе рад...»

Сколько же детей у Хамита?

Перед нашим отъездом Хамит решил созвать семью на плов. Рано утром идем с ним на базар, он сам должен выбрать мясо, серьезное это дело не может передоверить никому. По дороге, по случаю, еще раз пересказывает историю своего сына Нуримахаммата — ведь именно на базаре он тогда нашел этого мальчишку с его собакой. Да как нашел? Неделю целую за ним по базару гонялся. Правда, это не здесь, а в Кашкадарье было.

«...Поехал я в командировку в Кашкадарью. Люди рассказывали (знали уже, что я детей беру) про мальчишку. Жил он с отцом в мечети, а потом отец умер, и мальчишка бродяжничал по базарам, подворовывал мало-мало, ночевал с собакой на кладбище. Разыскал я его, а он — ни в какую. Дорожил своей свободой и своей собакой. Собака, правда, была большая, красивая. Шарика нашего помните? Это той собаки сын. Я снова ходил, уговаривал. Вместе с собакой Нуримахаммат ехать согласился. Проводник поезда всю дорогу ругал: «Избалуют детей, даже их собак с собою таскают».

На базаре Хамит не забывает купить соленые косточки, жаренные в золе, их любит Соадат. Эго дочка

Нуримахаммата. Она, как уже говорилось, живет в доме Хамита, учится в техникуме. Почему так получилось? Почему Хамит, получив однажды письмо от Соадат, в одночасье собрался и помчался на такси в Кашкадарью внучку забирать? А, стыдно сказать. Ну- Нуримахаммат глупость хотел сделать — выдать Соадат замуж за нелюбимого, а она ведь совсем дитя еще...

Впрочем, эта история — уже из современной жизни, а всех историй, что сегодня на Хамитовом дворе происходят, за тысячу и одну ночь не перескажешь. Нам бы с прошлым разобраться. Ведь и в нем, в знакомом прошлом, открываю для себя много неожиданностей.

Вот вернулся Хамит с базара, прилег на широкой деревянной тахте под деревом и пальцы загибает, кого на плов позвать. Среди имен, которые перечисляет, некоторые слышу впервые: Зиби, Ташби, Наимхон... Вроде бы всех детей Хамита лично или по фотографиям знаю, а это кто? «Тоже мои дети», — как-то виновато отвечает Хамит. И дело тут, оказывается, вот в чем: не про все рассказывает он журналистам. Зачем рассказывать, к примеру, что брал он детей дальних своих родственников? Помочь родственнику — в порядке вещей. Если в дом «черная бумага» с фронта пришла — отца убили, если мать тяжело болеет, как тут было не помочь? Значит, не тринадцать, а куда больше приемных детей у Хамита было? «Э-э, что считать? Разве я план выполнял?» — отшучивается Хамит. А вот одного из тех тринадцати, о которых не раз поименно писали газеты, хотел бы Хамит из числа своих детей «вычесть»: сильно пьет М. («такой черт» — ругается Хамит). В семье Саматовых отношение к спиртному строгое:

в рот не брать. Это наказ Самата-аки. Хамит однажды нарушил запрет: встретившись с фронтовым другом через 30 лет, от радости и поддавшись уговорам, выпил стакан. Представьте, брат Азим за это с Хамитом много лет не разговаривает. Помогают друг другу, чем могут, но все молча. Такие нравы. А вот М. пьет, сильно пьет, ох как он честь семьи позорит! Ну, хорошо, не буду писать полного имени этого сына. Но почему Хамит не зовет на плов ту свою приемную дочь, с которой я встречалась в прошлый приезд? Кажется, у нее было какое- то красивое имя, начинающееся на «о». «Ш-ш-ш», — прикладывает палец к губам Хамит. Ее имени даже произносить вслух не нужно. Девочка хорошая, добрая, она Мангит-апу до самой смерти навещала. А теперь замуж вышла. Муж — образованный человек, учитель, не хочет он, чтобы люди знали, что его жена выросла в Хамитовой семье, стыдится вспоминать, что жила она в такой бедности. Учитель, знаешь, как должен свой авторитет беречь...

Ни иронии в голосе, ни обиды. На мгновение показалось: загрустил. Нет, я ошиблась. Голос Хамита вновь поет и ликует: если не считать «этого черта М.», из всех детей Хамита хорошие, честные люди вышли. А что еще нужно отцу от детей? Только их счастье. Разве мог возражать Хамит, когда вскоре после войны родственники Лизы приехали ее забирать? Да он их и увидеть не смог — в командировке был. Зачем-то предлагали они Санобар деньги, но она тихая-тихая, а так на них посмотрела... Два дня, правда, ждали они Хамита, чтоб спасибо сказать. Хорошие люди! Пусть счастлива будет Лиза!

Когда жизнь стала лучше, начали к Хамиту непрошеные гости наведываться — ребенка на воспитание выбирать. Обижался на это Хамит: почему раньше свою помощь не предлагали? Да и сами дети не хотели от Саматовых уходить. Только одного сына, и то уже после прохождения армии, отдал в другую семью Хамит. Решил уважить просьбу Бахрама-аки, доброго человека, который на старости лет остался без наследника и некому даже хозяйство завещать. Пусть будет счастлив Суннат!

Зато как торжествовал Хамит, когда родные находили родных. «Война рассыпала людей, как просо, будь проклята подлая война!» Сколько неожиданных встреч, сколько праздников видел двор Саматовых! Вот Нуримахаммат, тот мальчишка с собакой, отыскал сначала брата, потом сестру и, наконец, втроем они родную мать нашли. Пусть будет счастлив Нуримахаммат! Пусть все дети будут счастливы!

Вот и проанализируй тут: как развивался характер Хамита. Кто-то из детей убегал (потом возвращался), кого-то увозили родители (и адрес даже не сообщали), что ж, он оставался к этому равнодушным? Не болело разве у него сердце от человеческой неблагодарности? Но откуда мне это знать, когда сам Хамит про такое помнить не помнит. Да, собственно, мог ли он меняться характером, отчаиваться, когда сам отважился взять на себя такой крест? И чему тут удивляться? Если бы я впервые его увидела, можно было бы и удивиться, написать о его жизни как о подвиге. Но я ведь давно знаю, что Хамит просто жил как жил и все, что он делал, было естественной потребностью его сердца. И стыдно мне писать о том, чего нет. Подвиг — это всплеск

сил и возможностей человека, что-то особенное, разовое. А здесь — самая обычная жизнь.

Ну, вот представьте себе эпизод. Мы собираемся уезжать, пакуем сумки, а Хамит вдруг тащит за ворота своей дачи. «Ты скажи, товарищ Володя, можешь ты у себя в Москве из дому выйти и прямо посреди улицы сесть? Не можешь? А я могу». Крупными, размашистыми шагами выходит на дорогу, утоптанную подошвами, колесами и копытами, решительно садится, поджав по обыкновению ноги, и на лице — блаженство. «О! Ящерица! Ух, труженица! По своим делам побежала». А больше никто по дороге не бежит, не идет и не едет. Тихо так, что можно услышать, о чем шепчутся пески лежащей неподалеку пустыни. «И-и-эх, в раю живем!» Мой коллега Богданов, «товарищ Володя», как именует его Хамит, наблюдает эту сцену с улыбкой, но доставать фотоаппарат не спешит — неловко как-то снимать в таком странном виде человека, известного всей стране.

...Шел третий день нашей жизни в раю. Хозяин рая (мудрец? ребенок?) сидел у наших ног в дорожной пыли, на своей, пока безымянной улице. Что хотел он сказать своей странной выходкой? Не знаю, не хочу гадать. Пусть сидит...

Пять фильмов снято об этом человеке, две книги написаны, больше сотни статей... Только сам человек ничего этого не читал, горько признаться, но ведь он, Хамит, так и остался неграмотным. И зачем, спрашивается, ему слава? Живой человек, пусть он даже прямо на земле сидит, все равно выше памятника. И больше всего того, что можно рассказать о нем.

Графова Лидия Ивановна

ПУТЬ К СЕБЕ — ЭТО ПУТЬ К ДРУГИМ

Книга первая

(Избранные статьи 1960—1979 гг.)

Компьютерная верстка и дизайн — *Елена Матушкина и Вероника Цоцко*
Редактор и корректура — *Инга Сидорова и Лада Негруль*
Работа с архивами — *Елена Морозова*
Набор текста — *Татьяна Струкова и Тамара Музыка*

Подписано в печать 23.08.2018
Формат 60x90/16
Объем 14,5 уч. изд. л.
Тираж 250 экз.
Заказ № ?????

Издатель ИП Матушкина И.И.
E-mail: ira-publisher@mail.ru
Отпечатано в типографии ООО «СамПолиграфист»
www.onebook.ru | www.samprint.ru



С юности у меня мучительная привычка: каждый день я должна себе доказывать, что не напрасно живу на свете.

Лидия Графова